

Ефим СОРОКИН

г. Пенза



МОЛИТВА ЗА АДОЛЬФА

повесть

* * *

Нет-нет да возобновлялось в келье обсуждение разговора с ершовским настоятелем. Вот и теперь, когда старец после вечерних молитв присел на сундук, Синенький сразу заговорил об отце Андрее:

— ...и всё-таки за его словами какая-то правда!.. Мне только, батя, не понравилось, что он голосом шишку держит...

— Когда его после лагеря в Ершовку на поселение определили, мы с ним часто рыбу удили... О многом переговорили... К нему родственница приезжала... привезла его военную форму, белогвардейскую... такая причуда у него!.. Хозяйка, у которой он раньше жил, Марковна, говорила, что он сапоги офицерские каждый день чистил... хорошие сапоги, сносу им нет... Такая причуда!.. Я понимаю... чтобы не забыть... чтобы не опуститься... дворянин... Гимназия, историко-филологический факультет университета... как раньше говорили, блестящие способности... А тут война царская подоспела — добровольцем ушёл на фронт. К семнадцатому году — штабс-капитан... В восемнадцатом пытался уйти через границу на запад... не удалось!.. приговорён к расстрелу!.. Бежал!.. И так несколько раз. Наконец приговорили к лагерям... там вы с ним и встретились... Всё-таки беспокойно у него на душе было, беспокойно. И сейчас беспокойно... Мы в последний раз при тебе как бы договаривали, о чём на рыбалке доспорить не успели... — Старец не оборачивался к Синенькому, сидел спиной к нему и рассказывал. При свете жидовика келья казалась полукруглой. И на иконных окладах углов не было. Закруглённость царил в келье.

— Он же — писака... О чём он пишет?

Старец отвечал, нудимый вопросом Синенького...

— Фёдор Достоевский ещё в семидесятых годах прошлого столетия предрекал, что русский народ дойдёт до ужасного безобразия. И вот дошли!.. Отец Андрей так размышляет: если уж русский народ духовно опустился до того, что под жидовскую власть прогнулся, то пусть уж он лучше под немцем будет. В утопии его немцы освободили русский народ от ига безбожников, и русский на-

род встаёт на путь духовного возрождения... при всех унижениях от германцев... впрочем, у него в утопии они требовательны, но справедливы. Русский народ терпит от немцев унижение, но не унижается православная Церковь, не унижается вера православная... Постепенно в немощи и покорности иноплеменникам очищаются сердца русских людей. И уже многие немцы принимают православную веру, а через них и народы, живущие под железной пятой Германии... Православие распространяется по миру, как христианство распространялось во времена апостолов. Заканчивается повесть рождением русского царя — сына прусского короля Гогенцоллера и русской царицы Киры Кирилловны. Кстати, утопичного-то совсем мало в его утопии... Я, Ваня, возражал литератору, говорил, что на чужих штыках можно принести только языческое божество, но никак не Христа. Иудеи-большевики и фашисты возводят государство в какой-то абсолют, который призван перековать русские души... чтобы забыли мы о небесном, забыли Христа. Чтобы жили только плотью!.. Вот чего добиваются профессиональные враги Христа — Геббельсы и Губельманы... Если один народ превозносится над другим, это противно православию!.. Превозносился Каин!.. Его природа — природа иудо-большевизма и фашизма... Наш литератор как-то разоткровенничался в умеренном подпитии... У Фёдора Достоевского, я уже говорил тебе, есть один персонаж в «Братьях Карамазовых» — Смердяков. Тот всегда сожалел, что в восемьсот двенадцатом французы не покорили русских. Его знаменитая фраза: «Умная нация покорила бы весьма глупую-с...» Вот и превратились мы, русские, — говорил вития, — в Смердяковых. И те, кто за иудо-большевиков, и те, кто германцев ждёт!.. И теперь, — говорил он, — я молось, чтобы окончательно не превратиться в Смердякова и не залезть в петлю... Я нашим рассказал про литератора... Такая боль в его словах была за Россию, за попираемую веру православную — я не мог не рассказать про витию нашим. Владыка беседовал с ним, а потом рукоположил в катакомбного иерея... но отец Андрей не знает, что по моей рекомендации... Говорили ему: «Русь надо вымалывать, а не гитлеров ждать!..» Казалось, он нас понял. Оказалось, не совсем. Не туда нем-

ного пошло течение его сердца. Для него война — это дуновение свежего ветра. — И тут же Уар как бы отступал от своих слов. — Легко сказать: «Россию надо вымалывать...» Советы давать легко... Себя бы кто вымолил!..

* * *

Накануне Введения зима немного смягчилась. Озеро казалось нелюбящим, и лес казался нелюбящим, гудел с угрозой. Уже улеглись спать, как в дверь робко постучали. Старец никак не мог попасть ногами в валенки, а робкий стук повторялся и повторялся. Старец пошлёпал открывать босиком.

— Батюшка Уар, беда!.. — сквозь гул леса услышал Синенький встревоженный голос Еннафы. Казалось, деревья в лесу выросли до гигантских размеров. Обычный лес не мог породить такой мощный гул. Синенький как бы увидел келью с новой ужасающей высоты этого леса. Она казалась малюсенькой, как букашка, которую легко раздавить.

— Батюшка Уар, беда!.. — повторила Еннафа уже в избе. Спохватилась, что не взяла благословения и, сделавшись совсем маленькой, со сложенными для благословения руками, подсемила к старцу, затепливающему жировик. Уар благословил. Еннафа опустила на табурет и выдохнула:

— Фотиния ушла...

Старец, сидя на сундуке, пытался попасть босыми ногами в обрезанные голенища валенок, но никак не мог попасть.

— Фотиния ушла, — чуть не плача повторила Еннафа жалостливым голосом. — Ничего никому не сказала... Следы — в сторону железной дороги... — Концом платка Еннафа вытирала слёзы. Старец попал ногами в валенки и теперь гребнем расчёсывал бороду. — Батюшка, Фотиния ушла, — неуверенно повторила Еннафа, думая, что старец не расслышал или не понял её торопливых слов. — Кто бы мог подумать!.. — И вопросительно смотрела в глаза Уару. — На полу хотела спать... на нарах мягко ей, говорила... — Ладони Еннафа приставила к вискам, будто зашоривая свой взгляд. — Денно и ночью молилась... верига-

ми звенела... И ушла!.. вериги за печку бросила...— Еннафа закрыла ладонью рот, будто засомневавшись, правду ли она говорит... Может ли быть такое? И глаза её вопрошали старца: «Может ли быть такое?» Старец, почесав спину об угол печи, сказал:

— Баба — с возу, кобыле легче.

Озадаченная Еннафа перестала плакать. Хмурилось исчезло с её лица.

— Пропала Фотиния!..

— Почему пропала? — с печи спросил Синенький. — Если по прямой от них... до станции не так уж и далеко...

— Я не о том, Ваня...

По долгому молчанию Уара и Еннафы Синенький догадался, что они разговаривают глазами. Он не стал мешать им. Монашествующие перебирали в своих умах возможные последствия поступка Фотинии. Ещё совсем недавно точно так же перебирали они в своих умах возможные последствия поступка убежавшей из пустыньки Анны, о которой Синенький слышал, но о которой не любопытствовал.

«Не к партизанам же Фотиния убежала?» — спрашивали глаза старца.

«Тогда уж скорее — к немцам!» — отвечали глаза Еннафы. Взгляд старца показался Еннафе строгим, и она, оробев, почувствовала себя виноватой.

«Да в чём ты виновата?» — спросил строгий взгляд старца. Еннафа опустила лицо в ладони Уара и заплакала. Он спрашивал её о чём-то, а она плакала.

— Что? — спросила Еннафа, поднимая заплаканное лицо.

— Богословские труды, что она по памяти переписывала!..

— Тоже оставила... всё оставила!.. да она и не писала в последнее время... говорила, что при немцах (война закончится) богословские книги издавать будут по первоисточникам!..

* * *

Отряд немецких разведчиков в белых маскировочных халатах возвращался лыжным строем с советской стороны через Ершовку. Зашли в дом старосты обогреться и передохнуть. Пе-

ред домом — сугроб. Дядя Фёдор накидал лопатой за зиму, расчищая дорожки. Немцы воткнули в него лыжи и палки.

В соседнем доме жила Авдотья с двумя беспокойными отроками. Петьке — четырнадцать, Пашке — тринадцать. Парни низкорослые, шуплые. Собирались в партизаны. Как стих шум у соседской избы, парни продышали проталинки в замёрзших окнах и прильнули к ним.

— Сколько лыж! — восхищался младшенький. Он хоть и младшенький, а, когда обидные слова от старшенького слышал, сжимал кулачок и — хрясть! — старшенького по скуле. — Надо бы лыжи скоммуниздить!..

— Заметят — убьют! — неуверенно ответил старшенький.

— Не убьют, — со знанием дела сказал младшенький. — Тут столько лыж!.. Одни пропадут, никто не заметит!.. Айда!..

— Куда вы? — тревожно спросила вслед Авдотья.

Взяли крайние лыжи и — в коровник. С лихо-радочной торопливостью отодвинули шершавые от замёрзших объедков ясли. В узкую яму под ними с остатками зерна на дне бросили лыжи. Ясли поставили на место, бросили в них сенца. Подошла корова, стала жевать. Только собака видела, как две шуплые торопливые тени метнулись от коровника к дому. Парни, счастливые, залезли на печь и, отогревая босые ноги, заспорили, кому первому кататься на лыжах. Спихватились: мамкины валенки малы, а на ботинках из автомобильных шин не покатаешься... До утра бы проспорили, но в соседнем доме чаепитие закончилось. Послышалась приглушённая немецкая речь за стеной. Парни прислушались. Говор немецкий стал громче, жёстче. Заматерился дядя Григорий...

Он был по форме, с белой повязкой на рукаве. В недоумении развёл руками, когда ему сообщили о пропаже лыж, растерялся, но тут же залихватски сдвинул на затылок шапку. Осторожные глаза Григория заметили в темноте на снегу отпечатки босых детских ног, и полицай указал на следы офицеру, снимающему уже надетый капюшон белого маскхалата. Немец пошел по следам с фонариком. Снег почти не скрипел под разведчиком. Солдат в маскхалате и Григорий шли следом. Григорий

внутренне посмеивался в полной уверенности, что лыжи найдутся.

— Это теперь Петька и Пашка!.. Ну, дубьё!.. — вслух возмущался Григорий. — Покататься надумали...

Обогнули по босоногим следам угол соседского дома, ввалились в коровник. Заметалось по стенам пятно фонарика. Корова перестала хрюкать и недовольно замычала.

Дверь дома простонала под ударом разъярённого немецкого ботинка. Авдотья обомлела и прижала к подбородку грязную кухонную тряпку. Солдат грубо стянул парней с печи. Они вдавили лохматые головы в плечи и, босоного перетаптываясь, заслонялись ладонями от света фонарика. Григорий поправил на плече ремень винтовки. Парни — сама невинность!.. Сама непричастность!..

— Лыжи где, души заблёванные?! — рявкнул на парней Григорий.

— Какие лыжи?.. не знаем ничего...

— Те лыжи, какие сейчас у немцев стащили! Шлёпнут сейчас как партизан!.. — И обернулся на вскрикнувшую Авдотью. — Ну, дубьё!.. — Раздражало неразумное упрямство парней. Тяжело прошлись по чердаку — из щелей посыпалась земля. Офицер взглядом исподлобья ощупывал личики парней, и взгляд его не предвещал ничего хорошего.

— Не брали мы ничего! — настаивали на своём лгушие парни. Они не юлили, они отказывались. А Авдотья в страхе за детей засовывала кухонную тряпку в свой распахнутый настезь рот. — Не мы!.. — Да ещё с вызовом отвечали, якобы обиженные на незаслуженное обвинение. Солдат обыскав чердак и погреб, остановился в дверях. Офицер рявкнул по-немецки. Парни переглянулись. Офицер брезгливо сжал личико старшенького своей волосатой ручищей. Губы Петеньки сделались бантиком. Петенька простонал.

— Не брали!.. Не брали!.. — уверял всех младшенький.

Офицер отпустил Петеньку и расстегнул кобуру.

— Партизанен? — с усмешкой спросил офицер. Остролицая Авдотья рухнула на колени, руки протянула к господину офицеру, замычала... Мычала и колотилась головой об пол. Кухонная тряпка торчала у неё изо рта. С Авдотьей сдела-

лась истерика. Офицер выстрелил между двух детских головок. Парни застыли с открытыми ртами. Авдотья с беспросветной безутешностью во взгляде мычала и крестилась...

— Не мы! — стояли на своём парни.

Григорий догадался, где спрятаны лыжи, нагнулся к Авдотье.

— Когда корове давала?

Авдотья поняла, что спасение идёт от Григория, но никак не могла взять в толк, что от неё нужно, и умоляюще смотрела на полиция.

— Господин офицер... — Не хотелось Григорию открывать немцам маленькую деревенскую тайну. Под яслями прятали зерно со времён продотрядов. Григорий снова нагнулся над Авдотьей и, шепча ей на ухо, вытаскивал изо рта женщины кухонную тряпку. До Авдотьи дошло!.. Она метнулась из избы, в дверях сбила с ног немецкого солдата... И вот уже кричала со двора:

— Вот, господин офицер!.. — И из сеней: — Вот, господин офицер!.. — Авдотья не могла пролезть с лыжами в дверь, но женщина рвалась в переднюю, чтобы показать господину офицеру лыжи. Солдат отнимал лыжи у Авдотьи, а она не отдавала их и кричала господину офицеру: — Вот они, господин офицер!..

Два хлёстких удара, и парни корчились на полу. Офицер что-то сказал им по-немецки и вышел.

— Как немцы уйдут, пусть эти два олуха ко мне зайдут, — сказал Григорий Авдотье, и та благодарно закивала. — Ну, дубьё!..

Авдотья слышала, как на улице Григорий говорил:

— ...разберёмся, господин офицер, разберёмся... не сомневайтесь...

Проводив немецкий отряд, Григорий устало зашёл в дом. Отец подкладывал полешки в печь. Григорий опустился на лавку. Поставил винтовку в угол.

— Плохие новости, тятя... В Верхововке одного парня-партизана взяли... К родным приходил... Так вот, между прочим, интересные вещи он рассказал про уаровских монахинь-девственниц...

Дядя Фёдор, удивлённый, выпрямился.

— Ты, тятя, дверцу закрой, а то штаны на коленях спалишь.

* * *

— ... вот мне и поручили разузнать, так ли всё это... приблизительно вот здесь!.. — Григорий подошёл к столу, разложил на нём нарисованную от руки карту на обратной стороне советской листовки. Дядя Фёдор надел очки, толстым пальцем с заусенцами поводит по карте.

— ... озеро... ручей... болото... это знакомо... Там в давние времена, старые люди рассказывали, отшельник один спасался. Только его избёнка давно сгнить должна. Если только обновил кто...

— Наш поп ничего не знает о пустыньке?

— Откуда? Он не здешний...

— Паренёк этот верхозовский признался, что заходили партизаны в эту избёнку к монашкам. Сам он не заходил, но разговор слышал... — Григорий задумался, надо ли отцу рассказывать всё? — Завтра к Уару зайдём, покалякаем... Что скажет, послушаем... Может, он этих лесных бандюков, как и мы, побаивается, а может... Ты, батя, скажи как на духу, знал ты про монашек?!

— Как на духу и отвечаю, не знал... ничего не знал... Первый раз от тебя слышу! А старца, Гриша, зазря не подведи... Он и при советской власти натерпелся... Заходили партизаны — не заходили, точно неизвестно... не пустят монашки никого в избёнку!.. если только силком...

— А ты откуда, тятя, такой уверенный?

— Сожгут их, а они не откроют!.. Это древность, сынок! Остаточки её, видать, до сих пор сохраняются. Благочестивая русская древность... Не каждый монах сейчас такие катакомбы выдержит, далеко не каждый!.. Может, и подружились партизаны к монашеской келье... не пустили их, а они набрехали!.. да ещё присочинили что-нибудь скабрзное!.. Вот, я думаю, как было... а так что-то не вяжется...

Григорий глянул в отцовские глаза: «Не знаешь всего, вот и не вяжется... древность благочестивая, блин!..»

— Ты чего-то недоговариваешь? — спросил дядя Фёдор сына.

Григорий и вправду говорил таким тоном и с таким видом, будто знал очень многое и это многое придерживал при себе. Григорию хотелось, чтобы старец и его девственницы каким-то образом были связаны с лесными бандита-

ми. Верхозовский парень признался, что в отряде есть молодая баба, которая, по слухам, до войны подвизалась в каком-то катакомбном монастыре. Уаровский это был монастырь или какой другой, парень точно не знал. Понятно, не мог знать и Григорий, но точно он знал другое: из Уаровской пустыньки сбежала монашка (бывшая барынька) и немецкий офицер-контрразведчик собирается переправить её в своё имение в Германии, киндеров воспитывать. Древнее благочестие, блин! Григорий пытался сам себя образумить... поискать в себе сочувствие к старцу и его девственницам, но никакого сочувствия не находил!.. злость!.. Тятя доверяет Уару, а Уар тятю не доверяет!.. Не знал ничего тятя про пустыньку Уаровскую... То зерна ему подкинем, то... а он!.. Да с партизанами он!.. катакомбник, блин!.. Они тятю убьют... Мы ему — картошки, капустки, а он — девственницам, стало быть... а партизаны... Это что же получается? Я должен на всё это смотреть?.. Мироотречники, блин!.. Тут мельницу никак не можешь... Только дело сдвинулось, только горизонты замаячили... А они спасаются... за наш счёт!.. А тятя верит во все эти поповские басни!.. У него с раскулачивания головушка немного... того... в божью сторону поехала... Партизаны...

— Партизаны в пустыньке ночуют!.. Я так думаю... Два раза железную дорогу взрывали... и оба раза ушли... зимой где им схорониться?.. у мироотречниц!.. больше нигде!.. И тепло, и сытно, и... ещё что-нибудь... Древнее благочестие, блин!.. Партизаны тебя, тятя, убьют — не Уара твоего!.. «Натерпелся он при советской власти...» А кто при ней не натерпелся?

— Я пожил уже... мне помирать не страшно... Храм ершовский до ума доведём немного, и можно с чистой совестью...

— Так... завтра с утра — к Уару! Пусть старец колется... расскажет, что и как. А не расскажет, на станцию отвезём. Пусть следовательно спрашивает. Он спрашивать умеет!.. Мы ещё поймём, а немцам не объяснишь, почему они в лесу прячутся, когда открыто служить разрешено.

— Он на покое...

— На покое он... Зарегистрировали бы свой монастырь и служили бы у нас в Ершовке. Пустых домов хоть ж... ешь!.. Подыскали бы ему жильё,

— напористо говорил Григорий. — Служили бы потихоньку... — Григорий нехорошо усмехнулся и замолчал. Григорию очень хотелось, чтобы Уар каким-то образом был связан с лесными бандитами. Хотелось так, что сам почти уверовал в причастность старца и его монахинь к красной партизанщине. В воображении Григорий говорил отцу: «Одна из уаровых монахинь — у бандюков». Григорий держал себя так, будто произнёс эту фразу вслух, и злился на отца, что тот не верит ему. Покусывая верхними резцами нижнюю губу, Григорий продолжал искать причину своего раздражения на мироотречниц в реальной жизни. И нашёл!.. В цепочку обстоятельств вплетался новый набор на работы в Германию. В последнее время Григорий ходил сердитый, озабоченный... а тут нестарые здоровые бабы...

— Конечно, здоровые, если в лесу живут... — допускал Григорий. — Немцы пока не лютуют, а скоро силком угонять будут... Татьяна наша должна на Германию горбатиться, а эти... спасаются, блин!..

Такое положение дел казалось Григорию несправедливым. Подспудно хотелось его исправить...

— Вот бы и послать всех этих покладистых и смиренных на работы в Германию... Где эти соседские долбо... были бы?.. Меня ненавидят, потому что я восстанавливаю мельницу... завидуют... это наша мельница... наша!.. — Григорий подошёл к шкафчику и налил себе самогонки. Ударить по хандре!.. И выпил... На улице отец скрябал деревянной лопатой, расчищая и подравнивая после немцев тропу. В голове Григория немного прояснилось.

— Я сам виноват... злюсь на то, чего не было. Никому нет дела до моей мельницы... Вот пушу мельницу и уйду из полиции, — на хрен мне всё это упало?.. Буду муку молоть... — Сел с бутылкой за стол.

Зашли в избу Петька и Пашка.

* * *

Парни, затаив дыхание, смотрели на дядю Григория.

— Ну что, дубьё, покатались на лыжах? — И выпил.

— Мы подумали, лыж много... если взять одни, никто не заметит, — сказал младшенький.

— Мозгов не хватило, — прибеднясь, сказал старшенький.

— Фафлю еть у вас мозгов хватило, а что лыж кому-то из отряда не достанется... на это у вас мозгов уже не хватило... — Услышав про Фафлю, отроки смутились.

Фафля была деревенской дурочкой огромного роста. Сутулилась, плечи выворачивала к груди, а согнутые руки всегда носила перед собой. Перед самой войной Григорий застал Авдотьиных сынков за постыдным делом. Зашёл в проулок, по которому редко кто ходил, и сразу увидел братцев, бегущих за Фафлём и вымаливающих в нетерпении:

— Покажи!.. Фафля, покажи!.. — гнусаво умоляли ребятки. Фафля шла своими гигантскими шагами и вдруг остановилась.

— Гы-гы... А вы моими женихами будете?

— Будем-будем — покажи, Фафля!.. — умоляли ребятки с замиранием сердца. Фафля прыснула в ладонь и уже приподняла подол, как увидела Григория и тут же подол одёрнула.

— Что тут ещё такое? — прикрикнул на мальчишек Григорий, и те ступешались в глухую крапиву. А Фафля рассердилась на Григория, замычала, кулаки сжала, затопала — и гигантскими шагами пошла прочь. Остановилась, подняла земляной ком и неумело, из-за затылка, обиженно лукнула в Григория, кривя глупое лицо.

В Ершовке постоянно ходили сплетни, будто такой-то и такой-то отрок подпоил Фафлю и из любопытства переспал с ней. Больше девки языком молили. Но некоторых Фафля называла своими женихами. Вечерами приходила к дому очередного «жениха» и звала на улицу к срамному горю родителей парня. Задабривали Фафлю чем-нибудь, чтобы не приходила. Задабривала и Авдотья...

— Что ощетинились, волчата? — сказал Григорий, вылезая из-за неприбранного стола. — Есть у меня одна думка, как вас, дураков, отмазать... — Григорий зашагал по избе. — Есть для вас одно дельце!.. Отказаться вы не откажетесь, потому и согласия вашего не спрашиваю! Многие помнят в деревне, сколько вам годков... когда вас мамка родила. — Призрак отправки в Германию, о котором всегда хотелось забыть, опять замаячил

над парнями. Опустили белобрысые головки, устались в пол мышинными мордочками, что-то проблеяли невнятно.

— Что? — строго переспросил Григорий.

— Не поедем в Германию! — сказал младшенький, не поднимая мышиноного личика от половых досок.

— К бандюкам в лес собрались? Не советую! Там и без ваших ртов жрать нечего!.. Это у нас тут относительно спокойно, а про Ольховку слышали? Не приехал один на сборный пункт, к бандюкам в лес подался — и дом спалили к едре не фене!.. Хотите мать на улице оставить? Не советую!.. — повторил Григорий с угрозой. Его слова на него самого произвели удручающее впечатление. Парни, посапывая, слушали. Дядя Григорий раскрыл дверцы буфета, взял два невинных стаканчика, запустив в них пальцы. Парни следили, как дядя Григорий наполнял стаканчики самогонкой, и понимали: им. Пододвинул к парням миску с солёными грибами. — Ну? — спросил примирительно. Парни выпили, закусили груздочками — ободрились немного. Дядя Григорий рассказал про пустыньку. — Вон на печи валенки сушатся... Одни старые, другие поновее... сами поделите, кому в каких... Лыжи — в сенях. Из пустыньки возвратитесь, сразу вернуть! И лыжи, и валенки! Да смотрите, не сломайте!.. Бошки оторву!.. — беззлобно настаивал дядя Григорий. Перевернул немецкую листовку и стал что-то рисовать. Парни подошли мягко, уже в валенках. — Пойдёте так... — Чертил и незаметно поглядывал на отроков. — Выйти затемно, чтобы к ночи успеть вернуться. Держитесь ручья, чтобы не заплутаться. Пустынька вот здесь... избёнка... Узнаете, сколько их там, девственниц этих... как живут, чем дышат... про бандюков лесных расспросите... не заходят ли к ним? А заходят, так как часто?.. И вокруг посмотрите: тропочки... может... следы какие... Может, схрон какой в сарайке найдёте... И в избёнку войти надо!.. Жилище многое о хозяевах рассказать может... А как вернётесь, я на станцию поеду дело ваше заминать. Скажу, помощники вы мои!.. — Дядя Григорий подмигнул парням и выпил. — Справитесь?.. Надо справиться! По-хорошему, поймать надо всех этих монахинь!.. — сказал Григорий и не осёкся. Отроки в недоумении уставились на полица.

— Как так? — спросил холуйский дуэт.

— Да вот так!.. Или кишка тонка? — Григорий сам себе удивлялся. Будто не он говорил, но продолжал подзуживать: — Справитесь?.. Все тридцать три удовольствия!.. И на лыжах покатаетесь, и... Или вы только Фафлю уговорить можете?.. — Григорий достал из буфета ещё одну бутылку. — Это вам на дорогу... для сугрева... и для храбрости...

* * *

Петька и Пашка берегли бутылку на обратный путь, но, наткнувшись на пустыньку, немного сбобели и решили пригубить. Долго глазели на избёнку из-за заснеженных разлапистых елей. И выпили почти всю бутылку. Захмелев, осмелели и забыли, что велел выведать дядя Григорий. Помнились только последние обидные слова его.

Сёстры сразу заметили парней за елями и затрепетали. Никто до сих пор не беспокоил их в этой пустыньке.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — напустив на себя смелости, сказала Еннафа согнутой у окна Фекле.

— Это не партизаны, — сказала Фекла. — Партизаны пришли бы с оружием... — Голос её подрагивал.

Парни вынули из-за поясков топорики и, оставив лыжи, направились к келье, глубоко утопая в снегу. Зайдя на мосток, младшенький рубанул топориком по перильцам. Ещё раз!.. ещё!.. В окно видно было, как парни развалили ударами ног поленницу, легко и молодецкато вспрыгнули на крыльцо. Саданули по косяку топором — сенцы задрожали.

— Открывай!.. — крикнули с ожившего крылечка. Наглые парни будто остановили время.

— Вставай на молитву, — сказала Еннафа Фекле дрожащим голосом, — а я...

— Открывай!.. — снова потребовали с лукавым восторгом. — Открывай, а то окна высадим!.. — Один отрок спрыгнул с крыльца и, схватив полено, замахнулся.

— Иду! — крикнула Еннафа, поспешно открыв дверь в сенцы и запахиваясь на ходу. Полено всё же было пущено, но — слава Богу! — не в окно.

Домик вздрогнул, с потолка в щели посыпалась земля. Били ногой в низ двери. — Что вам от нас нужно? — через дверь спросила отроков Еннафа. В ответ развязно рассмеялись.

— Что мужику нужно от бабы? То и нам нужно!.. Бросим каждой по паре ... и уйдём!.. А вы упёрлись! Отворяй, а то спалим!.. Может, понравится... — развязно кричали с крылечка и резко дёргали за ручку двери.

— Жги, — спокойно сказала Еннафа, но голосом как бы отступала. Парень с едва пробившимися усиками придвинул лицо к щели над дверью, обмерил надменным взглядом.

— Я не знаю, кто послал вас сюда, но пришли вы по наущению дьявола, — заговорила Еннафа, точно защищаясь, выставила перед собой раскрытые трепетные ладони. В дверь колотили с упрямой настойчивостью — крюк вот-вот выскочит из гнезда. Еннафа придавила его рукой. — Вы здесь хотите сотворить такое, за что нигде и никогда не получите прощения!.. Только скорбь обретёте ещё большую... — Снаружи дёргали за ручку и матерились. Через слово, как мужики матерятся со зла. Бранные слова так и лезли из молодых ртов, превращая речь в бессмыслицу.

— Отворяй! — требовал наглый голос. — Говорю, понравится...

— Идите назад к своим матерям и сёстрам! — продолжала уговаривать Еннафа. — Мы по возрасту вам матери и старшие сёстры. Смогли бы вы к своим матерям приступить?.. Смогли бы? Что не отвечаете?.. Смогли бы к своим матерям приступить? И тела наши немолодые уже!.. А вы не так пьяны, как притворяетесь... — умоляла Еннафа. Слышно стало, как за сенной дверью молится Фекла.

— Отворяй, блин!.. — истерично крикнул отрок и снова забарабанил в дверь. Другой ударил по двери топором — хрустнула доска.

— Кому мы помешали? — покорностью тона Еннафа пыталась умягчить беснующихся. — Мы себя Богу посвятили. Вы не на нас уже посягаете, а на Господа!.. Кричали: «Распни!» А вы кричите: «Растли!..» Вы по-другому над Ним надругаться хотите!.. на невест Его... Здесь мы молимся... за себя, за весь мир... и за вас, стало быть... Чтобы жизнь не остановилась, чтобы людям время на покаяние не сокращалось... Кому мы помешали?

Кто вас подослал? Вернитесь к ним, и пусть вам казнь полетче придумают.

Дверь треснула и сдалась. Парни ввалились в сенцы. Еннафа отпрянула к сенной двери и загродила её собой.

— Нет хуже греха, чем монахинь грехом осквернять!.. Лучше убейте нас!.. Сожгите и уходите!.. И то грех меньше будет... Только не оскверняйте!.. И как вы потом жить будете? Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Как вы перед матерями своими оправдаетесь, что осквернили монахинь? Как невестам своим расскажете? Как дочерям? Как оправдаетесь, когда они узнают?.. Не всех ещё комиссары от Бога отучили!.. Как матерям и детям в глаза смотреть будете?.. Вас молодых и выбрали, чтобы осквернить совершенной скверной...

Старшенький не выдержал и убежал из сенцов.

— Куда? — крикнул младшенький. — Назад! — приказал, и старшенький остановился на крыльце, но назад не спешил, а тело его наклонилось к ручью, в сторону от избёнки. Младшенький смотрел на брата презрительным взглядом, что-то говорил, но уже чувствовалась в уверенности его трещинка. Он верховодил над братом, но подавлять не умел.

— Сама отойдёшь?.. или помочь?.. — В голосе не было уже прежней уверенности, не было развязности. И — о, чудо! — послышалась слеза бессилия. Младшенький оттолкнул Еннафу и открыл дверь. Фекла молилась в переднем углу.

— Ещё одна...

Когда парни под разлапистыми елями стали завязывать крепления лыж, Еннафа раскрыла на аналог молитвослов.

* * *

Зимний рассвет уже посинил окна, когда в келье услышали скрип полозьев. Старец клал поклоны в переднем углу. Синенький с печи попытался разглядеть приехавших, но обзор закрывало висящее во дворе замёрзшее бельё. Послышались голоса и слились со скрипом крылечных ступенек.

— ...вот приехали по некоторым неотложностям... — говорил дядя Фёдор обернувшему-

ся от икон снежноволосому Уару. — Разобраться пристало... — И взял благословение у старца. Григорий зашёл молча, ни с кем не поздоровался, на иконы не перекрестился. Одет по форме, с белой повязкой на рукаве. Причину своего посещения говорить не торопился. Опустился на лавку и вытянул ноги.

— Ну что же, Григорий? — обратился к сыну дядя Фёдор, а тоном как бы продолжая извиняться перед старцем за вторжение. Григорий, рассердившись на винтовку, которая не хотела стоять, как её поставили, стукнул прикладом об пол, будто это могло придать оружию устойчивость.

— И что посоветуешь делать с тобой, Уар? — усмехнувшись, спросил Григорий не своим голосом. — Что посоветуешь?.. К тебе тут некоторые за духовным советом ходят... Вот и я пришёл... посоветоваться... — добавил он не без издёвки. Дядю Фёдора покоробил тон сына. Дядя Фёдор заёрзал на лавке. И Синенького задел тон полицая.

— Что-то ты, Григорий, сегодня жёсткий какой-то, — примирительно начал Уар.

— Я всегда жёсткий!..

— Как лошадиный хвост на морозе!.. — огрызнулся с печи Синенький.

— А ты там особо не выступай!.. если что, и тебя здесь не оставлю!..

— Что случилось? — спокойно спросил Уар. — Я за собой вины не чувствую.

— Не чувствуешь? — оскалился Григорий. Он сердился и на Уара, и на сынка его, и на повязку, которая сползла на локоть и не желала водворяться на место.

— Ты!.. строгий последователь Христов!.. — обратился Григорий к старцу. — Правду-то всегда говоришь? — И усмехнулся. Дядя Фёдор придавленно опустил свои ещё сильные плечи. Синенький зашвырялся на печи, заворочался. Неудобно ему стало на печи. Сенцо в матрасе сбилось, и печной кирпич давил в спину.

— Если сейчас ворвутся партизаны с пулемётом, а ты успеешь спрятаться, я скажу, что тебя здесь не было!.. Это будет неправдой!..

— Хм!.. — ухмыльнулся Григорий и мотнул скоблёным подбородком. — Поговорим о партизанах... — Полицай с трудом сдерживал рву-

щуюся из него злость. Синенький узнавал её. — Этой зимой склады на заготзерне горели? Горели!.. Чьих рук дело?.. И никого не нашли!.. Рельсы два раза взрывали?.. Взрывали!.. Чьих рук дело?.. И опять никого не нашли!.. Потому как в лес ушли бандиты!.. А в округе их отрядов пока нет!..

— Да говори ты прямо! — крикнул с печи Синенький. — Мы, что ли, со стариком рельсы взорвали?

Говорить прямо Григорию было нечего. Он сделал вид, что не счёл нужным отвечать.

— У партизан в лесу место есть, где и передохнуть можно, и обогреться, и... взрывчатку припрятать... — Григорий разглаживал повязку на рукаве.

— Не томи, Григорий! — просил сына дядя Фёдор. — Про парня-партизана скажи, которого у родных в Верхововке поймали, — осторожно подталкивал сына дядя Фёдор.

— Ты что это напрягся, отец Уар? — спросил Григорий подтрунивающим тоном. — Что напрягся-то, говорю?.. Рассказывай про своих монашек, а иначе на станцию повезу, к следователю... Там языки развязывать умеют!..

— Ты меня, Гриша, не пугай... я давно пуганный... Не помогли мои монашки ни партизанам, ни немцам...

— Монашки, стало быть, есть? Уже неплохо!.. А что же ты про них никому не говорил?

— Катакомбно спасаются...

— Катакомбно?.. — показушно удивился Григорий. — А у меня другие сведения!.. Партизана раненого они выхаживают...

— Нет! — уверенно сказал Уар. — Плохого в том ничего нет, чтобы больному помочь... Но не было этого!.. не было... — ещё раз и ещё твёрже повторил немец. — Я бы знал.

— Видать, не всё тебе твои девственницы докладывают!.. Ты хоть знаешь, что у тебя одна монашка уткнула из пустыньки?.. Уткнула!

Дядя Фёдор недоуменно уставился на сына.

— А ты что опять напрягся-то, отец Уар?

— Да не могла она к партизанам примкнуть!.. — сказал старец.

— Она к немцам уткнула, — подтвердил Григорий, но как — как! — ему хотелось, чтобы монашка убежала к партизанам. Он не мог скрыть своего желания. — Краля оказалась

благородных кровей... На ихнем языке хорошо разговаривает... и не только на ихнем...

— И что же? — Дядя Фёдор посматривал то на сына, то на старца.

— Да ничего!.. Господин офицер её вроде бы в своё имение переправить собирается, киндеров воспитывать... У них господам офицерам дозволено в обход официальной вербовки для домашнего хозяйства... препятствий по этому вопросу никто не чинит... — со скрытой злобой продолжал сникший Григорий. — Ну, и что же посоветуешь мне с тобой делать, Уар?

— Давать совет гордому всё равно что воду вливать в дырявое ведро... Вези к следователю... Только никаких партизан в избёнке не было!.. И не верю я, что Фотиния... она хоть и сбежала, но не верю я, что она сестёр оговорила!.. не верю!.. Это тебе, Григорий, пригнули!..

— А неплохо вы устроились! — Григорий дёрнул подбородком. — Неплохо устроились, говорю, — а, отец Уар? Ни за немцев, ни за красных... Ну, прямо как батька Махно, блин!.. А к партизанам от тебя, отец Уар, никто не утекал?

— Не знаю!..

— Я верю отцу Уару, — осторожно сказал дядя Фёдор, боясь разъярить сына.

— Как же ему не верить! — ёрничал тоном Григорий. — Если к нему ворвётся полицай, а партизан успеет спрятаться, Уар скажет, что никакого партизана не было. — Вскочил вдруг, заметался по избе. — Когда в тебя, тятя, партизаны стрелять будут, они, эти божьи одуванчики... они за тебя заступаться не станут... Или красные вернутся...

— Что-то ты, Гриша, в последнее время пугаешь всех... Ты вроде бы узнал от старца про пустыньку, узнал, что хотел...

— Блин! — выругался Григорий и снова заметался по избёнке.

— Нечего материться в келье!.. Ваня вон... и то ни разу келью худым словом не опоганил!..

Григорий закричал, заругался, чуть было из винтовки не пальнул. В припадке горячности стащил Синенького с печи и ударил его по лицу... ещё!.. ещё!.. хотел прикладом садануть... Дядя Фёдор вступился и оттащил Григория от Синенького.

— Это тебе за тот день!.. — тяжело дыша, напомнил Григорий Синенькому.

— За ту ночь, — уточнил Синенький, лёжа на полу и задирая нос кверху, чтобы не капала кровь. «Когда тебе Валторна не дала...» — хотел сказать Синенький, но не сказал, а достал из кармана увядшего лапсердака потёртую записку и прочитал: — Терплю... ради Господа нашего Иисуса Христа... терплю...

Григорий обернулся от двери, усмехнулся:

— Похоже, и этот в верующие заделался... Терпи, куда тебе деваться? — И, зло сплюнув, вышел.

Но вскоре в сенях что-то загрохотало, дверь распахнулась, и Григорий сделал знак рукой выходить.

— Собирайтесь поживее!..

Поднялся дядя Фёдор, шагнул на сына.

— Григорий! — Широко перекрестился. — Опомнись! Обещал же... Хочешь, перед тобой на колени встану?! — вопрошал отец, наступая на сына и вытесняя его в сени. — Оставь их!.. Ни при чём они!..

«Если для тебя слово отца что-нибудь ещё значит...» — говорили просящие глаза дяди Фёдора. Григорий глянул на старца, на Синенького. «Ненавижу вас всех!.. — сказал взглядом и поглубже натянул шапку. — Ненавижу!..»

— Ещё помянешь меня, тятя... когда пулю бандитскую у себя в животе...

«Я сто раз говорил тебе об этом!.. И всегда думаю об этом... зачем ты их защищаешь?.. ты ошибаешься... ты жестоко ошибаешься!.. ты...» — Григорий отвёл говорящий взгляд.

* * *

Дядю Фёдора убили дерзко, среди бела дня, у храма.

Партизаны пришли в деревню под видом горожан. Меняли одежду на продукты. Дяде Фёдору, уже мёртвому, на грудь повесили табличку с надписью: «Смерть фашистским прихвостням!» Искали Григория, чтобы убить, но не нашли. Он сопровождал по железной дороге партию рабочих в Германию. Среди лесных бандитов снова была замечена молодая баба с мужскими скулами, которая ранее уже объявлялась в Ершовке.

Уар, узнав об убийстве Фёдора Фёдоровича,

слёт, но на девятидневные поминки Синенький повёз старца в деревню. В лодке Уар сказал:

— Осиротела Ершовка без Фёдора Фёдоровича!.. — Старец сидел на корме в валенках с калошами, ноги под подрясником виновато сдвинуты коленочка к коленочке, подождёк в подбородок уткнулся.

Поднимались к дому дяди Фёдора по роскошному лугу с оперившимися одуванчиками. Белые парашютики облепили чёрные сапоги Синенького, облепили чёрные влажные калоши Уара. В деревне всё было на своём месте. И храм, и дома, и склады, и мастерские, даже восстанавливаемая Григорием мельница со светлыми дощатыми и бревенчатыми заплатами как бы говорила: «Скоро я буду молоть зерно». Всё довольно прочно стояло на своих местах, но во всём чувствовалась странная ущербность, будто Фёдор Фёдорович, умерев, забрал с собой в пакибытие самое главное, незаметное в обыденной жизни. Дом дяди Фёдора — с замысловатыми деревянными завитушками на оконных наличниках. Дверь не затворяли, давая доступ хотя и жаркому, но свежему воздуху. После упокойника изба хранила ещё едва уловимый запах тлена. Отец Андрей и старец сдержанно обнялись и сдержанно облобызались.

После литии расселись. Рядом звучал тихий разговор, вспоминались случаи из дяди Фёдоровой жизни. Григорий сидел напротив старца и Синенького. С виду Григорий казался спокойным, но чувствовалось, что внутри он бушевал. Когда стали передавать миски со щами, поднялся отец Андрей и, немного волнуясь, заговорил. В избе всё стихло.

— ... и стал его уговаривать потрудиться на храме, — говорил бледный человек с чёрной бородой. — Без таких людей в святом деле никак нельзя!.. Дядя Фёдор — на все руки!.. Ошеломляла его всегдашняя бескорыстная готовность помочь... Я вспоминаю с грустной признательностью, как он выкладывал треугольный фронтон. Без него ни за что бы не выложить!.. Я его за ноги привязывал, чтобы он вниз не упал. Я кирпич подавал, а он выкладывал... лежал на крыше и выкладывал... далеко не молоденький... И восьмерик укрепляли... трап сбили и по нему паклю носили, восьме-

рик укрепляли... Трап сбили из осин, трап метра два... Опасно всё это на высоте!.. Я ему окошко подавал, а он принимал... А я всё думал: «Как же он? Старенький уже, а не боится по крыше ходить!..» Господь его поддерживал! Марковну на крышу подняли, а она: «Караул! Боюсь!» За руки сводили... А дядя Фёдор!.. Осень... Крыша обледенела... Идём с ним вдвоём, за руки держимся, а дядя Фёдор меня и спрашивает: «Как же ты, отец Андрей, не молоденький уже, а не боишься по крыше ходить?..» Снег, лёд, голыми руками, но крест православный, что большевики сбросили, собственноручно дядя Фёдор водрузил!!! И дай Бог, чтобы простоял ершовский крестonosный храм до скончания века!.. А крышу красить стали, и краска у нас пролилась... и мы поехали!.. Дядя Фёдор меня за рубаху поймал. Потом привязались верёвками к куполу, и никто не сорвался!.. А краску эту у немцев доставали — тут целая эпопея! Книгу писать можно. Выкрасили!.. Никто не сорвался... Во всём помогал дядя Фёдор... ни в чём не отказывал... К Троице сам траву косил... Всё, всё!.. все работы в храме прошёл!.. От и до!.. И я от него отказного слова не слышал... Все работы знал! Был такой хороший русский мужик!.. И вот враг рода человеческого, гордый бес, отомстил дяде Фёдору за его рачительность о ершовском храме... Свыкнуться с подобным невозможно!.. — Сдержанность покинула отца Андрея, он прослезился. Его лицо казалось таким кротким, будто оно всегда было в слезах. — Враг рода человеческого натравил на дядю Фёдора партизан... среди бела дня... Убили и ушли!..

— Не уйдут!.. — заверил всех Григорий с мучительным оскалом на лице.

— Я буду поминать раба Божьего Феодора на каждой литургии как устроителя храма сего. Вечная ему память... Главное, дух какой у него был!.. И пусть Господь пошлёт карателей на тех, кто убил дядю Фёдора!.. — Отец Андрей выбивал каждое слово. — И я благословляю их карающую руку!.. — И боднул воздух бесстрашным лбом. — Доколе лучшие русские люди будут гибнуть от рук поджидков?! — Хотел ещё что-то сказать, но, почувствовав недружелюбное молчание к своим словам, поморщился и не стал больше говорить. И, побледнев более

обычного, опустился на лавку, но тут же снова встал. — И ещё!.. — Но за столом уже с лихорадочной быстротой поедали щи, и отец Андрей махнул рукой и досадливо закусил губу.

Из окна дяди Фёдоровой избы открывался вид не менее красивый, чем из окна уаровской кельи. Она едва просматривалась за деревьями на другом берегу озера.

В лодке старец сидел с опущенными плечами. Сухонький телом, он ходил на провинувшегося школьника. Синенькому хотелось подбодрить старца, но слов не находил. Уар сказал через скрип уключин:

— Когда Достоевского своего читал, всё про слезинку одного ребёнка говорил... а как попом стал — странное дело! — стал благословлять карателей... Противиться злу насилием!..

* * *

На другой день после девяти неожиданно появился в Уаровой келье ершовский настоятель. Приплыл по беспокойному озеру. Старец только отслужил панихиду. Законный пепельно-серый пейзаж не радовал. Деревня на другом берегу казалась мрачноватой.

Отец Андрей посидел немного у двери и пересел к печи.

— Григорий арестовал ваших монахинь и... отправил на станцию, — начал отец Андрей с дозированной строгостью в голосе. И снова пересел на лавку у двери. — Там разберутся... Поверьте, отец Уар, я буду всячески содействовать, чтобы их отпустили, но мне надо знать правду!.. В конце концов надо выяснить, откуда этот устойчивый слух, что ваши пустынноницы связаны с лесными бандитами!.. — Отец Андрей снова пересел к печи. Усидеть на месте ему было невозможно. На дворе ветер усиливался. Ветви скребли крышу непрерывно.

— Не знаю я толком ничего!.. — сказал Уар. — Решительно не имею никаких сведений... одни предположения... В Питере был в своё время катакомбный женский монастырь. Приняли они послушницу молодую — Анну... Деда её, священника, ещё в восемнадцатом году большевики на Царских Вратах повесили. Анна долгое время ничего об этом не знала... ни о

том, что повесили, ни о том, что её дед священником был... Родители не рассказывали... Анна даже комсомольским вожаком стала... но потом у неё отношения с одноклассниками не заладились — переизбрали её!.. Очень уж она переживала по этому поводу!.. Страдала от несовершенства окружающих её людей!.. Грех известный... До нервного срыва дошло!.. Лечили... Мать ей и рассказала про отца своего, которого большевики... Стала Анна на службы в храм ходить... наш, иосифлянский... Ну, а когда на не поминающих Сергия Страгородского гонения обрушились, попала в монастырь, как я говорил... В один день весь монастырь арестовали, хотя жили монашки в разных частях города. Понятно, на соседей грешили, но была одна неприятная думка. Арестовали монахинь и в тех местах, где литургию никогда не служили. Конечно, и проследить могли... но было подозрение, что кто-то из своих... Думать об этом тягостно!.. Четверо укрылись в нашей пустыньке? А как война началась, Анна сразу ушла из пустыньки? Если она монастырь сдала, то вполне могла уйти к партизанам... по своим каналам к советским подпольщикам... Только возникает вопрос: почему она жила в пустыньке... Ждали, что здесь много монашествующих соберётся? Как всегда, объединить, возглавить и... уничтожить? Но это только мои предположения, не больше... — Неуклюжими словами пытался объяснить ситуацию старец Уар. Тон его был горше его слов. Говорит и смотрит на офицерские сапоги отца Андрея. — Скулы у неё мужские... у Анны... И это всё, что я знаю!.. Может, на ЧеКа работала, а может, всё, что я наговорил, — чрезмерное ослепление!.. Но до сего дня ни одного партизана в пустыньке не было!.. А уходила Анна не молчком. Всё нам высказала, что о нас думала. Разочаровалась я в вас, говорит... Кругом люди гибнут, враг землю нашу топчет, а вы в лесу отсиживаетесь... Не «убий», говорит, ещё никто не отменял!.. И если вы не пытаетесь остановить руку убийце, то становитесь соубийцами!.. Обозвала соубийцами ... и ушла!.. вот так!.. В голосе у неё грубость появилась и презрение во взгляде... Пошла погибать... за свою родину... — Старец помолчал, раздумывая, что бы ещё рассказать про Анну. — Считала себя

незаурядным человеком... Я, говорит, истинного Бога не знала, но соблюдала в непорочности девственную чистоту свою... Объяснял я ей, объяснял, что девство — это не когда у девицы мужика не было... Я, говорит, Бога не знала, но чтילה его непорочными делами своими... на комсомольском поприще, стало быть...

— Выходили бы вы из своих катакомб, отец Уар, и служили бы в Ершовке, — с непроницаемой серьёзностью сказал отец Андрей. — И девственниц ваших, которые остались, оформим на клирос. Отслужите молебен Адольфу Гитлеру — не развалитесь!.. — беззастенчиво сказал ершовский настоятель. — И девственницы ваши живы будут, и в Германию их никто не угонит, если они при храме числиться будут... И я в Блиновку перееду служить, храм там до ума доведу... а батюшку блиновского в Верхововку переведём! Сколько ещё людей приобщится к храмовому богослужению!.. Гитлер — это не Сталин...

— Сталин, говорят, тоже исправляется... Патриаршество восстановил... Попов, что сталинского патриарха поминать согласны, из лагерей выпускают...

— Сталин — не Савл и Павлом никогда не будет, — ответил газетным заголовком отец Андрей. — Для этих... которые подняли руку на самого Бога, наша Церковь — союзник временный... пока они с Гитлером за свою власть воюют. Поймите, отец Уар, сегодня как никогда людям необходимо наше пастырское слово... особенно сейчас, когда фронт подошёл совсем близко! — Отец Андрей снова пересел. — Хочется дотянуться до вас словом, отец Уар! — Но не перекидывался мосток от старца к ершовскому настоятелю. Отец Андрей встал, ногой передвинул табурет, снова сел на него. — Ну, если вам на пустынных своих напле... Я вам, отец Уар, про фронт неспроста напомнил. Это сейчас партизаны железную дорогу взрывают, а когда... Совсем скоро... Партизанам предписывается сжигать дотла все населённые пункты в ближайшем тылу врага. Особенно зимой... Выгонять немецких солдат на мороз из тёплых домов... чтобы им отдыху не было... так что к зиме у нас здесь... Прежде чем красная артиллерия заработает, к

нам сюда партизаны-диверсанты придут... Что вы молчите, отец Уар? Неужели подлое убийство дяди Фёдора на вас никак?.. — У ершовского настоятеля глаза торчали от укоризны. Старец молчал. — Ну, тогда я вряд ли смогу чем-нибудь помочь вашим девственницам... — с глубоким огорчением проговорил отец Андрей. — Никак до вас не дойдёт, отец Уар!.. Если красные возьмут Берлин... в скором времени все богатства русские, которые в землях наших лежат, всё, что в благочестивые времена царю-батюшке принадлежало... всё это внучки жидовских комиссаров к своим рукам приберут! — Ершовский настоятель махнул рукой и поднялся. — Губельманов в кремлёвской стене хоронить будут... — Отец Андрей приложил прямую ладонь к виску, как это делают военные. — И красные воины будут на парадах отдавать честь палачам русского народа... Вот так! — Батюшка приподнял подбородок. — Вот так!.. будут отдавать честь палачам... тем, кто рушил православные храмы, вешал священников... кто выливал на Христа тиражи лжи!.. и причал народ... без Бога... а по русским деревням одни пьяницы жить будут!.. а самое главное, не будет в русском народе покаяния!.. предали Бога... а!.. ну и что?.. и так проживём!..

Слишком поспешно покинул ершовский настоятель избёнку. Пока он шёл к лодке, спина его оставалась жёсткой. Деревня на другом берегу затушеввалась дождевой мутью. Огоньки в ершовских окнах размазались по оконным стёклам Уаровой кельи.

— Я, батя, завтра чуть свет на станцию пойду, — сказал Синенький, стараясь успокоить старца. — Может, разузнаю что через дружка своего... — И добавил многозначительно: — А может, и помогу чем...

Старец молился на коленях. Синенький видел его, как обычно, со спины и, как обычно, слушал шёпотные молитвы. Но тут что-то с ним случилось, Синенький слез с печи и опустился на колени рядом со старцем. Первый раз в жизни Синенький молился до ломоты в коленях. Под тяжёлые звуки дождя... К вечеру звуки стали легче, а к ночи растворились.

Погожим утром старец благословил Синенького на дорожку. И сказал Синенькому слова, которых тот не понял:

— Только не возвращайся, как пёс, на свою блевотину...

* * *

С мыслями о Еннафе и Фекле я подходил к станции по упругой лесной тропинке, светлой и солнечной. Сквозь деревья и кусты виднелась железнодорожная насыпь. Искорёженные партизанским взрывом рельсы валялись рядом с обновлённым полотном. Белели непросмолённые шпалы. Тогдашняя стёжка отложились в памяти, и, когда впоследствии мне доводилось идти по светлой и солнечной тропинке, я всегда вспоминал мучениц нашей веры. Свежо пахло влажными листьями. Я не боялся ни немцев, ни полицаяев, но при мне было золотишко, а меня могли остановить и обыскать. Когда лес поредел, я пошёл напрямую через болотце, перепрыгивая с кочки на кочку. Манёвр был нехитрый, но вскоре в бодром настроении я вышел к краснокирпичному зданию. Крыша его была ещё тронута росой. До революции в таких домах жили приказчики. Красно-белый флаг со свастикой придавал зданию гордоватый вид. Рядом стояла блестящая машина. Мне был нужен Серожа. С небольшой натяжкой можно сказать, что Серожа вышел мне навстречу. Сперва из здания появился офицер с перчатками в руке. Тупое добродушное лицо с пороссячьими глазками. Нос маленький, пуговкой, глаза голубые... Важный!.. Такого на ср... козе не объехать!.. За плечом офицера маячил Серожа в чёрной форме с белой повязкой на рукаве. Оба в робы прилично вбиты. Оба хороши: и офицер, и Серожа. Невольно сравнил себя с ними и показался самому себе... Солдат-рулило завел машину... Хорошая машина!.. блестит!.. И сколько в ней значения!.. Серожа что-то сказал господину офицеру, и пороссячьи глазки повеселели. Уехал весёлым.

— Что шляешься без предьявы? — вместо приветствия нестрого спросил Серожа. Я полез в карман за... — Оставь!..

Я приподнял фуражку, здороваясь.

— Дело у меня к тебе... — И почувствовал, что снова превращаюсь в Синенького, того Синенького, которого знал Серожа.

— Пойдём ко мне... Поклюём, и расскажешь, что у тебя за дело. — И по тону ясно: догадывается Серожа, что у меня к нему за дело. У Серожи корочки со скрипом... походка развалистая... Я заторопился за Серожей... едва за ним поспеваю... жарко уже... парит... У Серожи гады блестят... гуталином обмазаны... Вот и дом его... новые наличники с деревянными кружевами... Из дома уютно пахло глаженным бельем и щами.

— Наливай, Маруся, щов, я привёл товарищов! — весело крикнул с порога Серожа. Женщина колыхнулась в сторону кухни. Мы сели. Прищепка Серожина плавно рубон на пень мечет... С рубоном у Серожи всё в ажуре... Покалякали ни о чём для приличия... Слова из меня полезли прежние, будто и не выгонял я их из себя, не изживал. Все до единого сохранились в каком-то укромном месте. Будто схрон какой-то для них во мне имелся. Я словно встретился с собой прежним.

— ... бодягу разводите не буду!.. Еннафу и Феклу отмазать надо!.. — Серожа осклабился было, но я решительным движением положил мешочек к его миске со щами. — Это господину офицеру!.. — Серожа посмотрел на мешочек, на меня.

— А мой-то парус какой?

— Как господину офицеру.

Серожа, польщённый, кивнул. Я смотрел на него в вычищенный до блеска самовар. Серожа в нём несколько одуловатый. Самовар отливал красной медью.

— Мне бабка моя, Матрона Ивановна, всегда говорила: «Ты, Серожа, в богатстве никогда не жил и не стремись к нему, к богатству... Я-то в детстве пожила чуть-чуть... Бог дал — Бог взял!.. И проживёшь счастливо и без богатства!» — говорил Серожа, разглядывая золотые змейки... — Может, и выгорит!.. Та, которая сама от вас сбежала... её господин офицер давно уже в имение своё переправил, а этих двух... Не пове-ришь!.. Этих двух... на хазу Валторне сдал.

Я перекрестился на запылённую икону.

— Да ты не подумай! Они там... Как бы это сказать? Старая и даром никому не нужна... а эта, задастая... не поддаётся... Господин офицер условие поставил: никакого насилия... только уговоры... — Серожа что-то говорил, но шум от проезжающих по улице громадных немецких грузовиков заглушил Серожины сло-

ва. Стены дома задрожали. Серожа ссыпал золотишко обратно в мешочек. — С причудами господин капитан! — Серожа взял деревянное весло, но ши не хлебал, задумался... Что-то примерял к обстановке в уме, переиначивал свои планы. Я успокоился. Чувствую, в масть попал!.. в цвет!.. в цвет!..

— Дело Божье, только вот золотишко это не горбом заработано... — На Серожином круглом лице появилось выражение озабоченности.

— Какое есть!.. Я думал об этом...

— Чуть бы тебе пораньше!.. Господин капитан не на станции квартирует... Сам он неизвестно когда здесь появится... к нему в город ехать надо... — Серожа стал хлебать ши, продолжая что-то обдумывать. — Через неделю ко мне приходи... прямо сюда, домой... я дома обедаю...

* * *

— Не тяни за душу!.. — попросил Синенький Серожу ещё в сених. Тот, изображая господина капитана, сказал:

— «По этот повот я должен выпивать с тобою рюмка!»

Синенький облегчённо вздохнул.

За столом Серожа сидел без рубахи, страшно волосатый. И плечи, и грудь, и круглый живот его поросли длинным густым волосом. Серожа ладонями аккуратно пригладил свои светло-русые волосы на голове.

— «Но видишь ли, мой русский друк!.. я должен сказать тебе один печальный вещь... Ты можешь обязательно никому говорить!.. Но как это?.. Намекать?.. да, ты есть намекать... Я тут делаю для Германия!.. Поп Андрей тут для Германия!.. Он есть молитва за Адольф Гитлер!.. чтобы дойчланд зольдат скинуть сатанинский звезда с Кремль!.. И теперь что получать?.. Я щажу лесной русский поп (это он так батюнечку твоего назвал, — пояснил Серожа от себя), а от лесной русский поп и его монахинь — нишево!.. нишево!.. Они нишево не делать для Германия!.. Они нет молитв за Адольф Гитлер!.. А я щажу!.. — Глаза Серожи с укоризной, и непонятно, его эта укоризна или господина капитана продолжает перекиривлять. — Скажи, мой русский друк, это карашо

для Германия?.. Нет!.. Я имею рассматривать план, чтобы лесной поп и его монахинь служить Ершовка. Мне не надо здесь поп-катакомб!.. Мне не надо здесь есть поощрять интерес русский баб к катакомб... Они бояться Сталин, потому и уходить катакомб... Как там у евангелиста?.. «Страх ради иудейска...» Наш зольдат помогать строить русский храм. При Адольф Гитлер нет катакомб! При Гитлер есть служить открыто! Германия помогать выходить из катакомб! Гитлер Берлин строить храм для русский поп... А лесной поп и его монахинь помещать меня в неловкость... Я надеяться, что они понимать!.. Поп и его монахинь должен согласиться мой план... Другое решение просто не есть находится. У него есть возможность доказать преданность германский фюрер... И будет спокойно продолжать своя молитва... Если нет, как это по-русски?.. Не сносить голова!.. — Серожа изобразил улыбку благодущной беспомощности, и непонятно было, его эта улыбка или он продолжает перекиривлять господина капитана. — Другое решение просто не есть находится... Я надеяться, что ты понимать... и ты есть намекать».

Синенький поёжился.

— Плохо дело!

— «Почьему, мой русский друк?»

— Если уж Уар сталинского прислужника Сергия Страгородского не поминал (а он — митрополит), то Гитлера (светскую власть) и подавно поминать не будет...

— Расстреляют твоего батюнечку... и тебя вместе с ним... — спокойно сказал Серожа. — Пока Еннафу и Феклу отпускают.

— Отпускают?!

— Отпускают-отпускают, но... «Но это не есть всё, мой русский друк!.. Я собираюсь создать нечто необычное!.. Анинерба понять и оценить моя шутка!.. Я собираюсь поставить маленький пьеса!.. Я видеть в этом... традиция... Я предлагать тебе вести монахинь перед народ по перрон... Совсем голый монахинь!.. Традиция!.. В анинерба высоко ценить моя шутка! — Серожа перекиривлял не только слова господина капитана, но и его жизнерадостность. — Ошен карашо!.. ошен карашо!..»

— Голыми перед людьми провести? — недоумённо переспросил Синенький.

— «О, ты не ешь воспринимать так тяжело!..» Впутал ты меня, братец Ваня, в историю! Не жилось мне спокойно!.. Теперь вот води монашек по платформе голыми!..

— А аниерба — что за зверь?

— А хрен её знает!.. — Серожа вздохнул и аккуратно пригладил ладонями свои светло-русые волосы.

Когда обсудили детали завтрашней передачи монахинь, Синенький попросил ещё об одном одолжении:

— Ты бы, Серожа, мне в лес кайфу достал, а то скучно бывает... я доплачу...

— Какой сейчас кайф?! — сказал Серожа таким тоном, что стало ясно: кайф у него есть.

— Серожа, я доплачу!

— Да не в этом дело!.. Есть настойка опия... в госпитале у немцев выцыганил... надо-то всего одну ложку, но... дышалка остановиться может, а ты и так...

Синенький чувствовал себя хорошо как никогда.

— Я уж думал, ты там, в лесу, молитвенником стал, — якобы шутейно сказал Серожа, но Синенький лёгкий укол почувствовал.

— Вот последний раз дурь приму... и!.. — в тон Сероже ответил Синенький, понимая, что настойку ему продадут.

Серожа вернулся с пузырьком. На доньшке плескалась жидкость.

— Одну столовую ложку!.. Не больше! Слышишь? — повторил Серожа. — Кайф такой: время как бы уплотняется... Кажется, что дни прошли, а прошло всего ничего, две-три минуты. Только — ради Бога! — одну ложку!.. Мне почему-то не хочется, чтобы ты копыта отбросил. Смотри не задохнись!.. И только после того, как монашек тебе передам...

* * *

Угоняемых выстроили в покорную угрюмую шеренгу вдоль железнодорожного полотна. Стояли в недоуменном оцепенении. И у женщин, и у детей лица стариковские, серые, мрачные. Телеграфный столб с поперечиной бросал на дощатую платформу крестообразную тень. На неё наложились тени двух чело-

век — тени Еннафы и Феклы. Скорбная шеренга притихла. За углом станционного дома Серожа сорвал с Еннафы и Феклы одежды. Монахини остались покрытыми только от бёдер до ног, а прочие части тела стали обнажёнными. Еннафа читала шёпотную молитву:

— Господи Иисусе Христе, покрый твоих созданий, дабы глаза людские не видели наготы наших тел...

Серожа подтолкнул монахинь, и они в крайней усталости поплелись вдоль несчастной шеренги. Сам Серожа шёл чуть сзади, и походка его сделалась какой-то озорной. Женщины закрывали глаза мальчишкам. Девочка в фуфайке с чужого плеча (рукава метут платформу) спряталась за мать. Подростки опускали глаза. Еннафа и Фекла держались за руки. Шеренга была невообразимо длинной. Казалось, ей не будет конца. Но тягостный путь закончился. Где-то неподалёку хлопнула дверца машины.

— Вон туда! — Серожа показал на плетень, над которым торчала любопытная стариковская голова в фуражке. Развернулась и уехала красивая блестящая машина. Подали скорбный состав, и словно вся станция содрогнулась. Ударили в рельс, и с сигналом погрузки заголосили!..

— Мама!.. мама!..

Провожающих полицаи оттесняли винтовками за злую колючую проволоку.

— Поля, береги себя!.. — И ударил плач.

... Я не сразу признал в двух растрёпанных полуголых женщинах уаровских монахинь, а узнав, окликнул их:

— Сюда!.. — И прыгнул в зажатый сараями проход. Пospешая, шли мимо каких-то серых кирпичных стен, сараев и прочих поселковых нагромождений. Монахини с лихорадочной торопливостью одевались на ходу. Я, понятно, успел заметить наготу Феклы. Заросшим крапивой и репьями огородом вышли к болоту, отороченному хилыми прозрачными ёлками. Я шёл впереди. Еннафа вела за руку покладистую непрекословную Феклу и успокаивала её. До меня сквозь шуршание травы долетали только отдельные фразы:

— ... и силы тьмы выходят, желая схватить нас за наши страсти... всматриваются в наши сердца... может, есть в них что-нибудь, что не наше, а их?..

Крот выскочил из-под моих ног — я зачем-то раздавил его и оглянулся. Монахини ничего не заметили. За спиной простучал по рельсам несчастный состав.

— ... но Господь укреплял девственниц... всё небеснее и небеснее становилось достоинство их целомудрия. И к нам, недостойным, как и к христианкам древности, подсылали отроков, чтобы совратить нас... и в блудный дом сажали, и исповедовали перед нами срамность своей скверноты... А Господь защитил, чтобы душа и тело оставались по чистоте одним и тем же...

И захотелось мне рассказать монашкам, кто и как их отмазал. И всё вспоминалась нагота Феклы, и чувствовал в себе подталкивание на блуд... Еннафа не для Феклы говорит — мне уши трёт!.. чтобы я думал, что Феклу у Валторны не фаловали!.. А так ли?.. Сомневаюсь!.. Томилось во мне желание, и почему-то хотелось, чтобы Феклу у Валторны уже опустили... Так хотелось выдать желаемое за действительное, что поверил своей выдумке, будто сам стал свидетелем позора Феклы. Дышалось тяжело-вато. Но вот и косогорчик!.. Упали на травянистый склон, привалились к тёплому валуну.

— Слава Богу, — говорю, — стараканились!

Торчим на зелени... Фекла, передохнув, сошла по косогору к болотцу, где блестела вода. Я смотрел, как она умывается. Сапоги накалились на солнце — ногам тошно. И дышать тяжело. Вчера с Серожей немного за жабры плеснули — комар башку начинал долбить. Еннафа мне уши шлифовала:

— ... пели нам похабные песни и заводили срамные разговоры... Фекла закрывала ладонями уши, а ей отрывали ладони от ушей, чтобы она слушала... Мы отворачивались от охальниц, вставали на колени и молились, а за нашими спинами продолжали петь похабщину. А Фекле описывали в срамных словах её формы... Ужасно всё это!.. Мы молились, а нам матерными словами рассказывали анекдоты... Пытка не гестаповская, не чекистская, но пытка... певицы-частушечницы старались... А на станции никто и не смотрел на нас!.. Не до того людям было!.. Их в Германию угоняют, до баловства ли им?.. — Еннафа посмотрела мне в глаза и спросила: — Кто-то ведь за нас слово замолвил?.. что нас отпустили?..

— Да я и замолвил, — бросил я небрежно. — Не считайте себя обязанными...

«Хорошо получилось, — подумал я, — даже как-то благородно, ё-моё!..»

— Ей тяжелее было... я пожилая уже... на меня и внимания не обращали... Я за неё порадовалась, как она держалась на этом позорище...

Я сдирал со штанов репы и пытался выкинуть их, но они прилипали к пальцам, и я раздражался. Вернулась Фекла, и двинулись в путь.

«Однако надо унять раздражение... — подумалось мне, и я нашупал пузырёк с кайфом в кармане лапсердака. — Назло хандре, ё-моё!..» Я пропустил монашек вперёд и снял резиновую пробку с пузырька. Страсти, которые поутихли во мне, пока я жил в Уаровой келье, как необузданные откормленные лошади, рвались из загона на свободу, и я чувствовал: вот-вот и они вырвутся на мою погибель.

* * *

Расстались у ручья. Синенький пошёл к озеру, а монахини — в свою пустыньку. Серожин кайф не действовал!.. Не в масть!.. Не в цвет!.. Не так всё!.. Не так!.. Я... Я(!) её выкупил — пусть расплачивается!.. Почему кайф-то не действует?! — вопрошал Синенький воображаемого Серожу. Раздражение Синенького дошло до злости, и, злясь на Серожу всамделишного, повернул в сторону пустыньки. Как машину надо заправить вонючим бензином, чтобы она поехала, так и Синенькому необходима была злость, чтобы идти в пустыньку. Пока шёл лесом, напряжение было между небом и лесом. Пока шёл по болоту, напряжение было между небом и болотом. В болотном туманце увидел вдруг Феклу. Что за ё?.. Куст за Феклу принял!.. Когда снова пошёл лесом, напряжение было между небом и лесом. Синенький чувствовал, что и в нём всё напряжённо натянуто, и всё натягивалось и натягивалось и дошло до того, что он уже опасался, что это самое натянутое в нём лопнет и порвётся. Мало того!.. Лопнет и порвётся нечто напряжённо натянутое между небом и лесом, небом и болотом, небом и... всем остальным!..

Издали, с лесной тропки, увидел Синень-

кий у ручья Еннафу. Она стирала бельё в ручье. Синенький перепрыгнул ручей, благо в этом месте он был в полтора шага. И — к избёнке... Злился на Серожу. Всё правильно сделал, а с кайфом подставил!.. Чистенькая, ухоженная избёнка. Кто-то метёт... шуршит веником по полу... полынным веником... В окошко видать, как Еннафа стирает бельё в ручье. За печкой Фекла метёт... Отстранил рукой занавеску и заглянул в запечный закуток. Нагнувшись, Фекла выметала веником сор из-под сундука. Ветошь на её бёдрах натянулась. Похоть разлилась по телу Синенького. С дыхания сбился. Фекла всё ещё шарила веником под сундуком. Синенький погладил женские бёдра. Фекла от неожиданности вздрогнула, но разогнулась неторопливо. Лицо Феклы не казалось невинным. В нём угадывалось напряжение, точно Фекла боролась сама с собой. Даже морщинка на переносье появилась. Фекла медленно подняла веник, собираясь защищаться. Синенький стоял, распялив ноги, засунув руки в карманы штанов.

— Сейчас закричу, — прошептала Фекла и ещё выше подняла веник. Её неуверенность подзадоривала Синенького. Ему показалось, ещё немного, и Фекла улыбнётся ему. Но этого не произошло. Синенький хлёстко ударил монахиню по лицу и, не дав ей опомниться, опрокинул на сундук. Она ударилась лицом и грудью и охнула. Синенький задрал ветошь на бёдрах Феклы. Он совсем обезумел от похоти. Намотал косу Феклы на свой кулак и уже собирался спустить портки, как нестерпимый свет ударил в глаза. Синенький отпустил косу, беспомощно поднял руку и отпрянул. Ангел был страшен для взгляда. Ангел смотрел без очей и говорил без уст. Не имея рук, он сковал Синенького. Огненный в движениях, ангел отлетел, не имея крыльев. Сердце колотилось бешено. Фекла оправлялась стыдливой рукой. Синенький видел плохо: после ангела в глазах стояло тёмное пятно.

— Пойду... — пролепетал Синенький, но продолжал стоять на месте. Появилось самолюбие и сказало: «Она не видела Ангела... она думает, что ты не можешь...» Самолюбие стало болезненным. «Она так думает», — сказало болезненное самолюбие.

— Уйди! — взмолилась Фекла дрожащим шёпотом. Синенький уже злился, злился триокаянной злобой. Фекла что-то говорила — он не разбирал, что именно, но чувствовал в словах насмешку. Так, по крайней мере, казалось Синенькому. Казалось, Фекла издевается над ним, оскорбляет его и в оскорблениях своих дошла до того, что Синенькому уже невозможно было сдержаться. Синенький схватил кочергу и ударил Феклу по голове. Фекла упала на пол и захрипела. Синенький ударил кочергой ещё раз. Клокотание в горле Феклы не прекращалось. Кочерга снова взметнулась, но тут Синенький увидел в окно Еннафу, идущую с тазом выстиранного белья. Синенький метнулся в сенцы. Калиточный проём, ведущий из сарайки в сенцы, был так низок, что, проходя его, надо было сгибаться в три погибели. Когда Еннафа толкнула рукой калитку и просунула голову в сенцы, Синенький рубанул кочергой сверху. Удар пришёлся в затылок. На земляной пол хлынула кровь. Еннафа рукой сделала движение, будто погладила кого-то, будто кого-то утешала. Синенький вернулся в избёнку. Фекла была мертва. «Что же теперь?.. Что же теперь?.. Надо рубить на куски и прятать!.. — В злобе бросился искать топор. Синенький видел плохо: после ангела в глазах стояло тёмное пятно. — Ухваты... ведра... ножи, ложки, спички... миски... Гремит всё!.. Нет топора!.. Топора нет, блин горелый!.. — Из кухоньки метнулся в сенцы. — Лопаты... мотыги... Спички?.. Спички!.. Спички!!! Зачем мне топор?.. Спички!.. Никто ничего не видел!.. никто ничего не видел... никто ничего не видел...»

И, уходя по ручью от горячей кельи, Синенький всё ещё повторял: «... никто ничего не видел... Да это партизаны их замочили!.. Или немцы!.. Каратели, блин!.. Гриша мог!.. Никто ничего не видел!.. — И вдруг остановился: — Что же я натворил?! Что я... Это тупик! Даже не тупик, а хуже! Из тупика можно повернуть обратно, а у меня тупик со всех сторон. — Наткнулся на трухлявый пенёк и бил по нему сапогом, пока не раскрошил... — И я хотел сохранить всё в тайне?.. Рыба гнилая!.. Ты гаже всех этих немцев и партизан!.. Хуже всех этих гитлеров и кагановичей, о которых старец говорит с отцом Андреем... Какой, одна-

ко, хищный зверь сидит внутри!.. — Синенький бежал и кричал криком животного ужаса. — Околеть!.. Сгинуть с лица земли!.. Опалиться огнём адским!.. Туда мне и дорога!.. — И Синенький побежал по болотцу. Он слышал хруст травы под ногами, слышал своё возбуждённое дыхание... Тухло подпахивало болотной тиной. — Вот оно, милое болото!.. Сгинуть здесь!.. Поглоти меня!.. — Наступал на кочки, ожидая попасть на кочку-ловушку, но болото не поглощало его. — Какая жуть!.. Все эти сталины-гитлеры, попы, которые их поминают или не поминают, русские чекисты-поджидки, чухонцы-эсэсовцы — все они по сравнению со мной божьи коровки!.. Господи!.. — Синенький бежал, подныривая под ветки... Бежал, отбиваясь от основных лап... Бежал редким сосновым бором, и солнце мельтешило в глазах... Он бежал... От солнечного мельканья замирало сердце, но не оставалось. — Зачем?.. Зачем ты бьёшься, больное и никуда не годное?.. — Спотыкался о горбатые корни, ударялся плечом о деревья. Не раз и не два небо кружилось над ним, а земля била в спину. «Хуже всех земнородных, — чавкало болото под ногами Синенького, — хуже пернатых, гадов и всего, что видимо и невидимо... Света лишён совершенно!..» Полоумный человек бежал по болоту и пытался себя утопить. Вот между кочками блеснула вода. Бухнулся в неё... Мелко!.. Поднялся весь в рыска. Но вот ноги сделались ватными. Синенький озирался. — Вернуться к пепелищу и удушиться?.. Как Иуда. Я — Иуда и есть!.. Хуже... — Он хотел завопить, но горло слиплось. В лесу что-то рычало от напряжения. С неба шёл неживой свет, и земля от этого неживого света тоже казалась неживой. Смолкло всё вокруг, притаилось, перестало шевелиться. И время будто остановилось. Синенький точно выпал из него, а когда очнулся, стоял на берегу озера, возле Уаровой кельи. Волны бесшумно и нежно омывали бережок, словно в мире не происходило ничего страшного. — Озеро... в нём хватит воды, чтобы утопиться...» — И оказался внутри Уаровой кельи.

— Батя... батя... — шепчет Синенький старцу Уару, подавляя тошноту. Синенький видел плохо: после ангела в глазах стояло тёмное

пятно. — Батя, я Феклу и Еннафу порешил!.. Батя...

— В тебе — сильная немочь, недужишь...

— Нет, батя, — шепчет Синенький, подавляя тошноту, — я Феклу и Еннафу порешил...

— Болен ты, Ваня... Я сперва подумал, что пьян ты, но запаха винного от тебя нет!.. Ты болен... Успокойся... Они в кухоньке на сундуках спят... И Еннафа, и Фекла благодарили тебя весь вечер, Бога просили послать тебе здоровья, продлить тебе век покаяния... за помощь твою... а что ворованое всё это... Бог даст, отмолят... Они молитвенницы неплохие... любят молиться... — Уар прослезился, и все вещи в келье будто прослезились.

Синенький затеплил свечу и заглянул в кухоньку. Сперва он увидел себя в оконном отражении, будто висящим над бездной. Свернувшись калачиком, спала Еннафа, подложив кулачок под щёку. С запястья свисали чётки. На другом сундуке спала Фекла. Под ноги Феклы подставили два табурета. Синенькому было дурно, его тошнило.

— Почему они в пустыньку не пошли?

— А нет уже никакой пустыньки, — затаив горе, сказал старец. — Григорий спалил пустыньку... Так, на всякий случай... чтобы партизаны перевалочный пункт там не устроили...

— Тю ё!..

Синенький вышел во двор. Синенького вывернуло наизнанку. Он долго выхаркивал из себя какие-то сгустки и приговаривал: — Кайф твой, Серожа, мне не в масть!.. — И утирал слону. Нашупал в кармане лапсердака пузырьрёк, вылил остатки, а пузырьрёк залукнул подальше. Синенький видел плохо: после ангела в глазах стояло пятно.

* * *

Я приучился молиться вместе с монашествующими. Молитвы они читали попеременно, а потом каждый вычитывал своё правило. До Филиппова поста я спал на чердаке. Утрамбовывал в сене пещерку и кутался в шаболы. Дышалось в сенной пещерке удивительно как хорошо! Спалось ещё лучше!.. Рядом стояли три гроба. Один, уже с посеревшими досками, — Уара. А два новеньких, ещё пахнущие стружкой, — Еннафы и

Феклы... На утренние молитвы я всё время опаздывал, но на вечернем правиле стоял с первого возгласа...

Еннафа частенько поучала меня, сидя у окна за шитьём или за прялкой.

— ... следить надо за своим телом!.. Следить за глазами, чтобы смотрели чисто, без гордости и сладострастия... Следить за ушами, чтобы пропускали мимо грязные слова и пересуды, сплетни, чтобы учились распознавать присутствие Господа... Следить за языком, чтобы говорил только благое, а чёрные слова чтобы не слетали с него, а к этим словам не прилеплялась страсть... Следить за руками... ногами... — Порой Еннафа, вразумляя меня, вставала из-за прялки и подходила ко мне. Она ходила неслышно, и половицы под ней не скрипели. — И тогда тело наше ещё здесь, на земле, получит от Господа частичку той одухотворённости, какое получит после воскресения...

Понятно, благодарить Еннафу за спасительные наставления я не то чтобы забывал, но не считал нужным. Чуть ли не одолжение ей делал, слушая её назидания. Говорила она со мной бережно, точно держала в ладонях свечу и прикрывала огонёк от ветра.

— ... молитва — это не только когда мы к иконам встаём и по молитвослову читаем, — мягкосердечно учила Еннафа мою неопытность. — Думать о Господе — уже молитва. Молитвенное правило — своим чередом, а молитвенное состояние — своим чередом... И то, и другое — молитва... Думать всегда о Господе!.. «И весь живот наш Христу Богу предадим...» Каждый свой поступок сравнивать с Евангелием! Каждый свой поступок посвящать Господу!..

Монашки часто просили старца Уара служить заупокойные литии и панихиды. Он никогда не отказывал. Просили служить за здравные молебны. И молебны в память святых.

— ... а то они обидятся, если не отслужим, — говорила Фекла, провидев согласие старца.

— Это ты обидеться можешь, — журил старец, — а святые не обижаются. Они — святые...

Часто служили Всенощное Бдение.

Жития святых Димитрия Ростовского читали ежевечерне. Читала Фекла.

— ... у тебя глазки молоденькие ещё, — говорила ей Еннафа, — читай!..

На перевёрнутую миску ставили жировик, и при его мерцающем дымноватом свете начиналось чтение.

— ... в другой раз я зашёл к одному древнему старцу. Он был невежда в слове, но глубок сердцем... был внимателен к себе и жил безмолвно...

Я с покоем на душе слушал о жизни людей, которым не в силах был подражать. Порой я ловил себя на том, что жду с нетерпением вечера, чтобы послушать житие святого, память которого праздновалась на следующий день. Уар и Еннафа, слушая, плели чётки. Порой монашествовавшие заговаривали между собой о том, чем тайно занимались внутри сердец своих, и тогда облако вечной тайны, о котором постоянно упоминалось, как бы покрывало Уара, Еннафу и Феклу. До меня доходили только некоторые словосочетания, как то: радение о внутреннем своём человеке, покаяние разума, умножение изумления, благодать чистой молитвы... Говорили о каких-то глаголах Господа, которые не записываются чувственными словами, и, поскольку не записываются они, то и говорить о них нельзя. И ещё я понимал, что и Уар, и Еннафа, и Фекла молитвенно достучались в дверь покаяния, о которой не раз повторялось в беседах, а я только подходил к этой двери.

Питались скудно, но еды хватало. Погребок в пустыньке не сгорел, и по снегу перевезли на салазках запасы монахинь в погребок Уара. Ходили в пустыньку с Феклой. Снег на солнце казался розовым (как лицо Уара) и синим в тени (как моя рожица). Глядя на занесённое болото с торчащими кочками, я вспоминал свой опиумный сон и благодарил Бога, что это был только сон.

В келье у нас поддерживалась строгая чистота. Ни тенёт, ни сора. Старец шутил:

— Скоро у нас в келье аптеку можно будет открывать... — Попечения о келье монахини не оставляли ни на один день.

— После пустыньки ваша келья просторной кажется, — говорила Фекла.

Опрятнее стало в огороде, опрятнее стало во дворе...

Как-то я спросил Уара:

— Что-то, батюшка, катакомбники к нам не заходят...

Старец выждал пару мгновений и, точно переходя из одного мира в другой, ответил:

— Не знаю, Ваня...

Видно было, что у батюшки самого душа изболелась по этому поводу. В поздних сумерках в стёкла окон бил мелкий жёсткий снег.

А с востока всё чаще и чаще наползали на Ершовку военные шумы.

— Что вы такой грустный, батюшка? — жалеючи, спрашивала Фекла старца.

— Больно от одной мысли, что красные приближаются, — отвечал тот.

Однажды днём пронеслась по Ершовке немецкая мотоциклетка, а за ней въехали тяжёлые грузовики. Немецких солдат расселили по ершовским избам. А совсем скоро молившийся ночью старец разбудил нас. В Ершовке пылало несколько домов, и над деревней стоял красный полусвет. Из спасительного отдаления мы наблюдали, как люди метались от дома к дому. Слышать, понятно, мы ничего не могли, но чудились и стрельба, и крики, и плач, чудились и гуд пламени, и блеяние, и ржание. Еннафа и Фекла, не отрываясь от окон, пели тропарь Божьей Матери, её иконе «Неопалимая купина». Горела и восстановленная Григорием мельница...

Через пару дней о пожаре узнали в подробностях...

* * *

Утром, только синева ушла с рассветных окон, пришла к нам из Ершовки Надя. Отвязала лыжи, воткнула их в глянцевый сугроб и в валенках с чужой взрослой ноги побежала по синей тропинке к дому. Зашла в келью вся запушённая инеем. Девочка превращалась в девушку. Веснушек на её кошачьей переносице поубавилось. Надю посадили к свеженатопленной печке, на которой лежал хворый Уар.

— Тятя тоже хворает... причастить просит...

— Сам я сейчас до Ершовки не дойду, — говорил Уар, осторожно слезая с печи. — Преждеосвящённые Дары с тобой передам... в яблоке... Понимаешь, о чём говорю? — Старец сунул босые ноги в валенки и, взяв подожек, заходил по избе, разминая затёкшие ноги.

— Понимаю... Иоанн Русский в плену агарянском от пресвитера в яблоках Причастие носил православным, — охотно ответила Надя. Старец остановился и через всю келью спросил:

— А ты?.. в плену сейчас — или как?..

— Знаете, батюшка Уар... Если до лета Красная Армия немцев со станции не выбьет, меня в Германию угонят. А я не хочу в Германию!.. Правда, когда Красная Армия придёт, веру свою снова прятать придётся... Партизаны в листовках пишут, что советское правительство покаялось... мол, зря попов обижали... Только тятя не верит им!

— Правильно делает! — Уар опустил на лавку возле стола.

— А у нас ночью в Ершовке поджигательницу арестовали... — Надя желала поделиться тем, что знала. — Дядя Григорий поймал её... Она избы поджигала, возле которых немецкие грузовики стояли. А немцы в этих избах не квартировали. Они грузовики у соседних изб оставляют. И никто из немцев не пострадал, а у наших, ершовских, получается, четыре избы спалила... И мельницу дяди Гришину... У тёти Маруси... — И Надя стала перечислять погорельцев. В печке рубиново рдели угли. Я разравнивал их кочергой по решётке, похлопывал. — ... Дядя Григорий немцам в подмогу охрану из стариков организовал, потому что немцы сказали, что партизаны обязательно вернуться. Им надо всю деревню дотла спалить, чтобы немецким солдатам негде было передохнуть. И правда!!! И сама поджигательница потом рассказывала, что у неё такое задание было: спалить Ершовку. Сокрушалась, что задание до конца не смогла выполнить, — объясняла Надя, поглядывая на слушающих незасорённым бирюзовым взглядом. — А поймал дядя Григорий поджигательницу случайно... По малой нужде вышел, за угол дома завернул... Глядь, пахнет чем-то... бензином!.. Винтовку вскинул... Слышно, как жидкость из бутылки выплёскивается... И увидел поджигателя... а тот дядю Григория не видит... Порожнюю бутылку в снег кинул, спички достал, коробок встряхнул... Чирк!.. чирк!.. Дядя Григорий выстрелил, но промазал... подбежал к поджигателю, спички ногой выбил... тут уж все из домов повыскакивали. И немцы, и наши... А поджигатель оказался поджигательницей... Немцы её раздели и пороли вожжами, но не сильничали её, а только ржали! А дядя Григорий ей допрос учинил... Тётъ Нюра рассказы-

вала... Её сначала немцы с ребятишками из избы выгнали, а потом офицер пришёл, на печь всех отправил... Дядя Григорий выспрашивал-выспрашивал поджигательницу, а она резко ему отвечала, огрызалась, холуём немецким обзывала... А пока огрызалась, проговорила, что знает, где келья ваша, отец Уар, и про дальнюю пустыньку знает... Дядя Григорий ей говорит: «Ты день между первыми поджогами и вторым приходом в Уаровой келье хоронилась. И бутылки с зажигательной смесью у него же прятала... И зовут тебя Анной!.. Может, зовут тебя как-то по-другому, а когда монашкой была, Анной звали... Вот, значит, всё проясняется... Говорил я бате, что Уар вместе с лесными бандюками!..»

Мы все тревожно переглянулись. Я обжёгся о раскалённую печную дверцу.

— Только в деревне, батюшка Уар, никто не верит, что вы с ними!..

— Зато Григорий верит, — высказала Фекла то, что было у всех на уме. — И убедит господ офицеров...

— А у нас в Ершовке завтра — казнь!.. Всем велено быть! Я не пойду!.. У меня тятя больной... я боюсь смотреть... я как представлю!..

— Достань, Ваня, яблоко из погреба... самое большое и крепкое...

Я передал Еннафе светло-зелёное яблоко со светло-коричневым пятном. Солнце блестело на яблочном боку, подсушивало капельки влаги. Вонзился нож в яблочную плоть и с хрустом ополовинил. Сок брызнул на руки Еннафы. Кончиком ножа она скинула на стол тёмные семечки и с жёстким хрустом скovyрнула их ложе. Старец, надев епитрахиль и поручи, бережно достал из-за икон круглую жестяную коробку из-под дореволюционного печенья, открыл её и литургийной лжицей переложил в белое нутро яблока розовые кубики Преждеосвящённых Даров. Еннафа, соединив половинки, притёрла их так, что разрез стал невидим, и обмотала яблоко суровой ниткой. Старец благословил Надю Причастием в яблочке и отдал его ей.

— Надя, — обратилась к девушке Еннафа, — а эта поджигательница... она прихрамывает?

— Да... И ещё как!.. Немцы над ней издеваются... На мороз — босиком!.. И водят по деревне, пока сами не замёрзнут. Хромает она на правую

ногу... Её уже видели в деревне, когда дядю Фёдора убили... и на службу раз приходила... скулы у неё мужские...

Еннафа поджала губы, глянула на Уара.

— Она... — вздохнула Еннафа и сказала из жалостливости своего сердца: — Болящая она!.. болящая!..

Надя неплотно закрыла за собой дверь — поддувало. Слышен был шёпот мёрзлого камыша на ветру. Старец захлопнул дверь и наложил крюк, чтобы не отходила.

— По-хорошему, уходить нам надо!.. — в раздумье сказал старец, остановившись посреди кельи. — Я не дойду никуда, а вам... а вам и идти некуда...

— И слава Богу! — сказала Еннафа почти радостно. — Набегались уже!.. — Все посмотрели на неё немного удивлённо. — И мановение свыше на мученический подвиг нам было... И сила Божья являлась, защищая нас и от отроков развратных... и в блудном доме нас блудить уговаривали... И нагишом перед людьми гоняли... И разве мы не согласны за Христа пострадать?.. давно уже нет в нашей жизни ничего хорошего, кроме молитвы. И видно, время наших жизней к концу подошло, — робко улыбаясь, говорила Еннафа. — Ну, а Григорий... замысел Гриши прозрачный... его бесы давно иссатанили!.. Давайте помолимся за него... Нам за врагов наших не только молиться положено, но и любить их.

Старец Уар будто преобразился весь, заходил по келье молодцом, без подошка.

— Люблю я тебя, схимонахиня Еннафа!.. Дух победный в тебе живёт!.. врагопоразительный!.. Монах никогда не должен унывать!..

И Еннафа улыбнулась широко и открыто. Голову на плечо положила и будто любовалась помолодевшим Уаром. И все вещи в келье будто бы улыбались вместе с Еннафой.

— Я то же самое сказать хотел, да не решился, а ты... Вроде как за вас переживал, а не о том тужил-то... — Говорили они так, будто не смерть свою обсуждали, а вели обыденную беседу. И Фекла улыбалась, глядя на престарелых монахов. Они встали на молитву и молились за Григория. Я за него не молился. Они молились втроём, а меня как бы оставили за своим кругом. На меня повеяло предвестием

скорой разлуки, и неуютно мне сделалось от этого предвестия. Со мной не раз бывало: всё в глазах туманится, а что-то или кого-то чётко видишь среди расплывающихся предметов. Теперь среди расплывающихся предметов я чётко видел молящуюся троицу.

* * *

— Вам что, особое приглашение?..

Приглашали на казнь, и люди выходили из домов на мороз. Немецкие солдаты вели поджигательницу. Она шла босиком, прихрамывая, высоко несла на гордой несломленной шее стриженую голову. Спина партизанки казалась жёсткой. Руки не были связаны, но узница держала их за спиной. Бабы, у которых партизанка сожгла дома, ковчегами рядом, убитые горем, кричали, ругались, проклинали поджигательницу. Те, у кого дома пожечь не успели, шли с пугливой настороженностью. Остролицая Авдотья шла молча, зажав рот рукой. Её дом тоже спалили, но она не кричала и не ругалась. Сыновей её отправили в Германию, но состав разбомбили, и Петька с Пашкой, по слухам, ушли к партизанам и, по разумению Авдотьи, могли быть в ту злополучную для Ершовки ночь вместе с поджигательницей... Не могла она одновременно поджечь и дома в деревне, и мельницу у плотины!.. Партизанка тем временем с брезгливым презрением глянула на погорельщиц, продолжающих испускать проклятия в её адрес, и бросила:

— Только о себе думаете!.. Дальше своей избы ничего не видите!.. — И глянула в льдистое высокое небо с бледным солнцем. Одна из погорельщиц в истерике бросилась на партизанку, вцепилась в её короткие волосы. Солдаты оттащили бабу, пригрозили прикладами. Партизанку подняли.

— Товарищи, не бойтесь! — громко выкрикнула узница. — Враг будет разбит! Победа будет за нами! Смерть фашистским оккупантам!

У кого-то в овчарне испуганно заблеяла овца.

— Ты почто дом спалила?.. а?.. — заголосила другая погорельщица. — Куда мне теперь с детьми?.. а?..

— Ещё немного, товарищи, и Красная Армия освободит вас! — И с восхитительной небреж-

ностью глянула на страшную виселицу. — Нас много! Всех не перевешают! — кидала в народ партизанка. Стриженная голова её и лицо были покрыты синяками. Выщелкнулся немецкий солдат с фотоаппаратом. Повесил на партизанку плакат с надписью: «Поджигательница домов». Снова защёлкал фотоаппаратом. — Бейте фашистских гадов! — Кособоко припадая на большую ногу, партизанка смело направилась к виселице, возле которой в пугливой пришибленности стояли ершовские жители. Солдат с фотоаппаратом всё забегал и забегал вперёд, щёлкал и щёлкал. Немцы приволокли порожний ящик из-под снарядов. Обозлённый Григорий с бруснично-красным лицом вскочил на подставку и, закинув винтовку за плечо, суетливо стал привязывать удавку. С крестом в руках подошёл отец Андрей, бледнее обыкновенного. В епитрахили и поручах поверх тулупчика. Партизанка сама, без посторонней помощи, с вызовом в движениях, встала на порожний ящик из-под снарядов. Удавка касалась её уха, глаза горели. Отец Андрей что-то сказал партизанке и протянул крест для целования.

— Не нуждаюсь! — вонзила в ответ поджигательница. Взгляд её попятил отца Андрея.

— Подумай, девка, — сказал священник, бледный более обычного, — прежде чем от Бога отворачиваться... Емелька Пугачёв — разбойник был не чета тебе, и тот на четыре стороны кланялся, прощения просил у православного люда, крест целовал, — говорил отец Андрей, усталыми глазами глядя на поджигательницу. А та крикнула в народ с мстительной ненавистью:

— Давите фашистских прихвостней!.. А за меня отомстят!.. — Щёлкал фотоаппарат.

Конный немец вычистил тающим концом сосульки грязь из-под ногтей, выкинул сосульку и надел партизанке петлю на шею. Ворона каркнула...

— Это тебе за тятю моего, сука красная!.. — Григорий со злобной удалью выбил ногой ящик из-под босых ног поджигательницы. Она схватилась рукой за верёвку выше петли у себя над головой. И всем показалось, что она с мольбой глянула на отца Андрея, всем показалось, что она хочет покаяться. Отец Андрей с крестом в вытянутой руке неловко бросился к

повешенной, но партизанка с нечеловеческим усилием воли надсадно прохрипела:

— Давите фашистских прихвостней!.. — Конный немец ударил партизанку плёткой по руке, сжимающей верёвку, что-то в повешенной надломилось, и с босых ног на смертный снег закапала моча. Щёлкал фотоаппарат...

* * *

В то утро, когда повесили в Ершовке Анну, у нас задымила печь.

— Ваня, — будил меня Уар, — Ваня, надо привезти глину из карьера, — просил старец, почему-то прикрывая рот рукой. В избе пахло печным угаром. Еннафа и Фекла махали полшалаками, выгоняя отравленный воздух в открытую настежь дверь.

— В сарайке припасено!.. — начал было я.

— Измазали уже!..

Я проверил. Ни песка, ни глины! Тащиться с салазками на карьер не улыбалось. Путь неблизкий и по глубокому снегу. И колотунец! Но деваться некуда. Засунул топор за пояс и пошёл.

Вернулся уже в потёмках. Ещё издали глянул на Уарову келью, и тронуло сердечко неясное ощущение неблагополучия. Окна показались неуловимо мёртвыми, не чувствовалось в избёнке живого духа. Дверь нараспашку. Снег во дворе весь истоптан.

— Господи?..

Шелестел камыш на упругом ветру. Я ничего не понимал, точно лишился разума. Предположил самое страшное, но не поверил себе. Келья уже выстыла. На stole стояли три кружки с замёрзшим травяным чаем. Рядом лежали Евангелие и Требник, открытый на чине исповедания. Холодно, темновато и глухо. Ещё утром всё здесь дышало и жило. И вот всё затаило дыхание. Я подошёл к иконам. Пальцы мелко тряслись, пока я затепливал лампаду. В недоумении снял с гвоздя карточку с фотографическим портретом Адольфа Гитлера. При свете жировика тщательно обследовал печь, чтобы найти ущербность, но ни одной трещинки не обнаружил. Я затопил печь. Дрова подпалил карточкой с Адольфом Гитлером. Ходил вокруг печи и принюхивался. Угар в из-

бу не шёл. Я топил печь и смотрел на огонь. Я выходил на крыльцо, смотрел в небо на безутешное множество звёзд и снова возвращался к печи. Утром схожу в Ершовку, — решил я, — к отцу Андрею. Кто-кто, а он должен знать, что здесь произошло!.. Тихо было, только поленья трещали в печке. Я уснул у раскрытой печной дверцы.

Приснился мне схиерепископ Уар в литургийном облачении.

— Ваня, — сказал он ласково, — почему ты спишь? Почему не заботишься о телах наших? Вспомни, чему учил я тебя, когда был жив!.. Мы просили тебя позаботиться о телах наших и похоронить в том месте, которое указали тебе. Потрудись, Ваня, извлечь нас из воды и прояви заботу о нашем погребении. — Старец рассказал мне, как погребать монахов, и оставил мой сон.

Я опамятовался не сразу, ко мне не сразу вернулся ясный разум. Я был как бы ещё во сне. Но раскалившаяся материя штанов обжигала колени. Я захлопнул дверцу печи и, повинаясь Уару, пошёл к озеру, к проруби, из которой мы черпали воду для своих нужд. Звёзды уже не казались безутешными. Я лёг на живот и кулаком пробил молодой лёд в проруби. И увидел тела мучеников нашей веры. Они лежали на дне и как бы освещались странным образом. В этом месте было неглубоко, но поднять тела не представлялось возможным. И не ледяная вода смущала меня. К святым телам были привязаны тяжёлые камни.

Пока привязывал серп к шесту, вспомнил одно из житий, в котором писалось: «... и тогда они привязали к телам мучеников камни и бросили в прорубь...» И пока скрипел от дома к проруби, пообещал старцу Уару написать... повесть не повесть, но написать о нём и его монахинях, чтобы со временем о них не забыли, а образы их не размылись. Тела мучеников всё ещё освещались на дне непонятным светом. Я опустил серпоконецный шест в прорубь и перерезал верёвки. Потом подцепил серпом тело старца за одежду и поднял на поверхность. Вода замутилась поднятым илом. Тела Еннафы и Феклы едва различались на дне, но таинственный свет не отступал от них. Когда я поднял тела монахинь, подрясник на теле старца сковал мороз. Монахини тоже были в подрясниках...

Я прижал непослушные пальцы к самому тёплому месту печи и, обращаясь к схиепископу Уару, мысленно говорил ему, что не забыл то место, где он несколько лет назад благословил похоронить себя. Обращаясь к схимонахине Еннафе, мысленно говорил ей, что не забыл её пожелания, о котором узнал из случайно услышанного разговора с Феклой. Пальцы не отходили, и обледенелые концы рукавов таять почему-то не думали. Тела мучеников, прямые и неподвижные, рядком лежали у порога. Глаза их были закрыты, но мне казалось, что они испытующе и требовательно смотрят на меня.

Я принял к сердцу заботу о достойном погребении убиенных.

* * *

Три дня хоронил я мучеников нашей веры, а после похорон три дня отлёживался на печи, а как полегчало, сообразил, что новопреставленные мои не отпеты. Далекое за лесом продолжали тяжело бухать какие-то орудия. Стёкла отдавали лёгким дребезгом. Я наполнил заплечный мешок картошкой и лыжным ходом пошёл в Ершовку, к отцу Андрею.

Дом попа стоял чуть наискосок от храма. Дверь открыл сам священник. После яркого солнца в доме попа всё казалось тёмным. Благословения у священника я так и не взял, хотя и пытался, но он всё время сам как бы отворачивался от меня. Я вывалил к печке из заплечного мешка картошку и попросил отпеть старца Уара, Еннафу и Феклу.

— Я отпел... уже отпел их... — не поднимая глаз, сказал поп.

— А землю?

— Да-да... — Священник с готовностью стал одеваться, и мы, поспешая, пошли в храм.

Чистые тряпички с освящённой землёй лежали на каноне. Растерянные пальцы священника связали узелки и опустили их в мою руку.

— Похоронил их где? — спросил священник. Взгляд его блуждал.

— В пустыньке, за болотом... Там в древние времена старец святой спасался. Пещерку себе вырыл, узкую такую, и семьдесят лет в ней молился. Она и стала ему гробом. Вот... возле

этой пещерки и похоронил... Сто десять лет прожил старец... В день ел по три сухаря... и по три ягоды... — говорил я, глядя на мешковатые подглазья отца Андрея. Мне ещё было невдомёк, что отец Андрей был свидетелем казни мучеников нашей веры. Он мне и рассказал обо всём.

— ... ты зря так безрассудно по Ершовке расхаживаешь, — предостерегал меня поп. — Григорию на глаза лучше не попадайся!.. Дождись темноты и — по озеру...

— Отец Андрей... спросить хотел... Почему Гитлер не пустил в Россию тех иерархов, которые с белой армией в рассеяние уходили?

— Не знаю...

Я пошёл мимо Гришиного дома. Шёл медленно, но никто меня не остановил. Когда зазвонили к вечерней, я шагал по плотине, мимо сожжённой партизанами мельницы.

* * *

На основе рассказа ершовского настоятеля казнь мучеников нашей веры открылась мне с потрясающей ясностью.

... Извне пробился звук: вроде как полозья саней заскрипели.

— Приехали, — запросто сказала Фекла, будто ожидаемые гости приехали по какому-нибудь обыденному поводу. Из саней поднялись три тёмные фигуры, уверенно зашагали к келье. Старец закрыл Евангелие и пошаркал открывать дверь, в которую уже тяжело колотили.

— Иду-иду, — обыденно откликнулся Уар, ускоряя шаг, чтобы не заставлять никого ждать.

Тяжёлые фигуры, мешая друг другу в дверном проёме, ввалились в келью. Первым — отец Андрей, за ним — Григорий с винтовкой, а за ним — немецкий солдат с автоматом. Он был высок, худ и носат, а нижняя губа у него — слюнявая. Совсем не похож на истинного арийца. Пукнул и стал протирать пальцами запотевшие стёкла очков. Монашествующие, теснясь, отступили к иконам. Понимали, что жизнь повернулась к ним основным значением. На столе в кружках дымился травяной чай. Немец надел очки на свой длинный нос, и вооружённый взгляд его как бы сказал: «Вынуж-

ден вами заниматься...» Но автомат держал наготове. Григорий зубами стянул варежку и, с ненавистью глянув на Уара, бросил:

— Сдаётся нам, батюшка, поджигательница у вас ночевала... а?..

— Не было здесь никого...

Отец Андрей вертел в пальцах какую-то карточку.

— А это мы сейчас проверим!.. — со злостью продолжал Григорий, подходя к монашествующей троице. — Глядишь, и бутылки найдём с зажигательной смесью... — Резким движением он вырвал карточку из неуверенных поповских пальцев и повесил на гвоздь рядом с иконами. Это была карточка с фотографическим портретом Адольфа Гитлера. Отец Андрей сделал шаг вперёд, как бы оттесняя Григория от троицы монашествующих. Немец, никого не стеснясь, снова пукнул.

— Пока вы здесь всё обыскивать будете, — сказал отец Андрей, — я с отцом Уаром побеседую...

Полицай и солдат вышли из избы и пошли к сарайкам.

— Отец Уар, я не верю, что поджигательница ночевала у вас, и тем более не верю, что у вас хранится... что там... — быстро заговорил отец Андрей. — Я уверен, отец Уар, что сегодня вы не будете проявлять неразумного упрямства... Я не знаю, кто такая эта Анна... чекистская провокаторша, сдавшая ваш катакомбный монастырь в Питере... или не провокаторша и не чекистская агентесса... Поймите, сейчас это совершенно не важно!.. Для немцев она — ваша!.. из вашего окружения!.. Эти двое пришли, чтобы расстрелять вас!.. И поверьте, мне стоило больших трудов, чтобы уговорить господина подполковника...

Вернулся Григорий и, прислонившись к дверному косяку, со злой усмешкой смотрел на монашествующих. Вернулся и носатый солдат. Снова стал протирать очки. Он пукал и пукал, точно протух. Священник метнулся в кухню, вернулся с порожним ведром и протянул его Фекле.

— Принесите воды из проруби!.. Будем служить водосвятный молебен!..

— За здоровье Адольфа Гитлера? — спросил Уар.

— Именно за здоровье Адольфа Гитлера!.. И тогда господин подполковник, может быть... может быть!.. ещё(!) поговорит с вами... Вас об-

виняют в пособничестве лесным бандитам... когда фронт уже... — Отца Андрея уже раздражало упрямство Уара. — Я уговорил господина подполковника разрешить мне приехать сюда... Я рассчитываю на ваше благоразумие... — Отец Андрей боялся опустить ведро на лавку, боялся, что этот жест послужит сигналом Григорию. Отец Андрей продолжал говорить, держа ведро в вытянутой руке. — Надо отслужить молебен за здоровье Адольфа Гитлера!.. Просто необходимо... иначе вас прямо сейчас выведут во двор и расстреляют... Зачем доводить до этого?.. Вы ещё сможете тихо и прилежно послужить Господу в ершовском храме.

— Всё между нами давно переговорено, — сказал старец почти спокойно. — Не служили мы ни за Сталина с Сергием Страгородским и за Гитлера с его фюрерами и другим Сергием служить не будем...

— Не блудите сердцем, отец Уар!.. Ваш поступок сродни самоубийству!..

— Хватит!.. — рявкнул Григорий. Отец Андрей опустил руку. Пустое ведро ударилось о лавку. Григорий схватил старца за шиворот и выволок во двор. Монахини посеменили за ними. Ершовский настоятель, сгорбившись, сразу пошёл к саням. Очкастый немец не спешил, не рвался приложить к казни свою руку. В душе он радовался рвению полицая. Монахини прижались к схиепископу Уару. Когда коренастый полицай вскинул винтовку, снег перестал поскрипывать под их ногами. Поп в санях твердил себе под нос:

—... благочестивые гонения... благочестивые гонения... Сергей Воскресенский поминает...

— Отец Андрей, — обратился старец к попу, сидящему спиной к казни, — ты бы отпел нас... заочно... только Гитлера не поминай, ради Бога... и помолись... может, мы и правда чего-то вместить в себя не можем...

Сгорбленный поп в санях, не оборачиваясь, кивнул. В ветвях прибрежных берёз посвистывало, шелестел промёрзлый камыш.

— Прощайте, батюшка Уар, — горячим шёпотом произнесла Фекла.

— Чай, свидимся сейчас после расстрела... не сразу там — по разным местам... — И улыбнулся Фекле, и она улыбнулась, хотя ноги её сомлели, вот-вот подкосятся. — Молимся! — сказал старец. — Отче наш...

Григорий выстрелил. Старец обломился и упал. Священник в санях вздрогнул от выстрела, но продолжал тараторить себе под нос:

— ... Сергей Воскресенский служит при немцах — поминает Сергия Страгородского... Алексей Симанский служит при комиссарах — поминает Сергия Страгородского... Все поминают патриарха Сергия Страгородского!.. Чтобы сохранилась Церковь!.. Значит, всё правильно!.. Это благочестивые гонения!.. благочестивые гонения!.. — продолжал уверять себя поп в санях. — Чтобы сохранить Церковь!.. Сергей Воскресенский...

Катакомбный схиепископ Уар лежал на снегу. Горло его ещё клокотало. Перепуганные монахини шептали: «Отче наш...» Омерзившийся Григорий бешено орал на немца:

— А ты чего?..

И немец, словно испугавшись, выстрелил. Падая, Еннафа повернулась в сторону Феклы, утешая и подбадривая её последним взглядом. Но промелькнуло в лобызавшем взгляде и опасение, как бы по слабости естества женского Фекла не потеряла надежду на спасение. Горло Уара ещё курлычило.

—... благочестивые гонения... благочестивые гонения, — твердил себе под нос поп в санях, — ...благочестивые гонения...

Немец, оскалившись, выстрелил в Феклу. Она рухнула, как стояла, только отступила на полшага. И тот миг, когда пуля убила её, сразу показался ей далёким прошлым, потому что там, куда она попала, не было и не могло быть никаких пуль и само время туда никогда не заходило. Еннафа протянула к ней радостные руки. Схиепископ Уар в архиерейском облачении с посохом легко шёл к своим чадцам, разговаривая на ходу с поспевающим за ним дядей Фёдором.

А во временной жизни коренастый полицаи, разрываясь от злости, с бешеной расторопностью норовисто привязывал камни к телам мучеников нашей веры.

— ... благочестивые гонения... благочестивые гонения... — продолжал твердить себе под нос священник в санях, — ...благочестивые гонения...

Место действия повести никуда не переносится — меняется время. Война с Германией закончилась. Пишу я снова от первого лица, но узнать меня будет трудно, потому что сам себя узнаю с трудом... Станционный посёлок в наших северных землях... дощатая железнодорожная платформа без навеса... и Иисусова молитва, которую я читаю про себя... Осень... По ночам уже носится мокрая вьюга, а днём ещё моросят дожди. Всё вокруг мокрое: и станционное здание, и пристанционные постройки, и заборы, и дощатая чёрная платформа, покрытая потускневшими золотыми монетами берёзовых листьев. В дождевике и сапогах мне сухо и тепло, даже уютно. Будто в сухом, хорошо протопленном доме сидишь в непогоду у печки и смотришь в окно на непогоду. Голые прижелезнодорожные деревья беспокойно качаются. Я жду из города Серожа. Он должен привезти мне тетради в клеточку и простые карандаши.

Серожа уходил с немцами, но попал в плен и свернул с натоптанной стези — перешёл на сторону Красной Армии. До ранения воевал в штрафном батальоне. После госпиталя простили подчистую. С фронта Серожа вернулся с медалями. Устроился грузчиком на овощную базу... Серожин поезд запаздывал.

Пришёл состав с другой стороны. Из вагонной сутолоки и тесноты выпрыгивали люди, через пути бежали к станции, к кипятку, к туалету. Бренчали котелки. Вдоль поезда забегали торговки. На дальнем пути остановился весь зачехлённый серо-зелёный состав... Я читал молитовку... Вдруг кто-то хлопнул меня по плечу.

— Не узнаёшь?.. — Спрошено было с угрозой. Боец сдвинул капюшон плащ-палатки. Я не узнавал его. На груди бойца — ордена и медали... Холодный ветер зашуршал голыми ветвями берёз. — Не узнаёшь, значит?.. — И снова без угрозы. — А я твою рожу никогда не забуду!.. — В бойце уже угадывалась злость, которая когда-то мучила и меня. Его злость искала выхода, искала словцо пожестче, чтобы им хлестнуть меня, искала, к чему бы придаться... Боец засунул палец за ставший вдруг тесным несвежий ворот гимнастёрки, дёрнул его, повёл подбородком. Лихо сидевшая на голове крас-

нозвёздная пилотка придавала бойцу героический вид. С тихой злостью был назван номер лагеря, в котором мы вместе сидели перед войной. Раза три было повторено про химический карандаш, и боец сам почувствовал, что химический карандаш, который я в лагере отобрал у него, не стоит того, чтобы злиться спустя столько лет и событий. Понятно, дело не в карандаше, а в том унижении, которому я...

— Прости меня... я виноват и чёрен перед тобой... — Но боец не слушал меня, а говорил сам:

— Война-то всю эту блатную дурь выбила из меня! — с многозначительностью сказал он, не без налёта хвастовства. Боец гордился разрывом со своим прошлым и, похоже, фразу про войну, которая выбила из него блатную дурь, произносил не в первый раз. — А я смотрю: ты или не ты? — Злость накаляла бойца. — Давненько я мечтал с тобой встретиться!.. — Боец схватил мою руку и сжал её так, что в моих глазах пошли фиолетовые круги. Он не ослаблял хватки и что-то говорил мне в лицо злым шёпотом... Господи!.. и даже брызгал слюной... Господи!.. Я ждал, что боец ослабит хватку и освободит мою руку. Но произошло другое. Рука моя по чужой воле сперва взметнулась, а потом заломилась за спину (глаза брызнули от нестерпимой боли), и я получил удар ногой в спину. Всё вокруг заходило ходуном. Станционный домик подпрыгнул и улетел за спину, а земля налетела на меня...

Когда я очнулся, слоновая тяжесть в плече мешала дышать. Откуда-то сверху услышал голос бойца:

— ... да плесень тюремная!.. пока мы под пулями, они тут!.. — В голосе всё-таки чувствовались оправдательные нотки, но и похвальба жила там же...

Когда я в другой раз очнулся, по милости Божьей шёл дождь. Я заполз под дощатую платформу, как червь, которого легко раздавить. Слоновая боль в плече мешала дышать... Я лежал в пыли на сухом. Меня донимал озноб... зубы стучали... руки стыли, но поднести их ко рту и согреть дыханием не получалось. Со стоном грохотали в ночи поезда. Слоновая боль сковала плечо и мучила всё тело. Стало невмочь так, что и жить не хотелось... боль!.. и ничего, кроме боли... Терплю... ради Господа нашего Иисуса

Христа... Господи!.. или я имею нужду в умалении и уничтожении от людей?.. зачем Ты оставил меня здесь?.. для какого вразумления?.. или гордынька моя ещё нуждается в истреблении?.. В тот миг, когда боец заламывал мне руку, я подумал: «Будь у меня заточка, я успел бы всадить её ...» Я читал, что Ты — Любовь... Неужели Тебе, творящему бесчисленные высшие миры, надо загонять меня под платформу, чтобы чистить на уровне помысла?.. Я вздрогнул от скрежета поездных тормозов... Сопел паровоз... Сквозь щели платформы был виден фонарь. Под ним всё ещё качались беспокойные ветви берёз. Поезд со скрежетом остановился. В порыве упругого ветра с другого конца перрона из влажного мрака донеслось:

— ...я и подумать не мог, что это так надолго!.. — с горечью говорил кто-то басом под звяканье молоточка невидимого обходчика. И много тише: — ... ответственное, мол, задание!.. научили кадилами махать и распределили по приходам!.. И торчу в этой дыре второй год!.. Ни заданий, ни... Я тут всю жизнь, что ли, кадилом махать буду?.. Я ещё понимаю, где-нибудь на Западной Украине... Там ребята под пулями, можно сказать, ходят... бандеровцы недобитые по лесам шастают, — а тут что?.. — Двое остановились почти надо мной. Тот, что говорил, был в хромовых сапогах, в плаще и шляпе. Я разглядел через щель и бороду. Второй был в милицейской форме, без шинели. Вероятно, ехал в поезде, и бородатый уговорил его выйти на платформу. Бородатый взволнованно жестикулировал, а милиционер был спокоен. Было в его спокойствии нечто болотное. Слова просящего тонули в нём, как камни в трясине. Блум! — и снова всё затянуло ряской. Милиционер засунул руки в карманы галифе.

— ...бандеровцы недобитые по лесам шастают, а тут что?.. У нас здесь всё тихо...

— И слава Богу! — задористым голосом отозвался милиционер и расхохотался. Его собеседнику шутка не понравилась.

— Я в милицию шёл работать... по комсомольской путёвке... а не попом!.. Ты уж, товарищ майор, — заторопился бородатый, — зайди к нашему начальству, замолви за меня словечко!.. Бандоков в стране — до грёбаной страсти!.. Ребя-

та головы ложат, а я... «Паки и паки»... Тоска берёт!.. Да и в храм почти никто не ходит... Они же, верующие, чувствуют...

— Недопонимаешь ты, на какой фронт тебя начальство направило!.. — вздохнул милиционер. — А что народу мало ходит, так тебе и не надо, чтобы много ходили... Ты не суетись!.. Ещё неизвестно, где сложнее, батюшка... с бандитами перестреливаться или... вот у тебя, на приходе... с верующими... Фанатиков много ещё!.. Вами их немного поразбавили, хотя, правильно ты говоришь, бандитизм выкорчёвывать людей не хватает. Лучшие на фронте головы сложили!.. И бандюков развелось!.. Но и поповское царство надо под жёсткий контроль ставить! Ничего не попишешь, Церковь ещё в современном мире вес имеет... международные отношения, и всё такое... А тут ещё не успеешь оглянуться, фашистские прихвостни в рясах из лагерей выйдут!.. Так что: что прикажут!.. Велено будет Иисусову молитву читать...

Поезд лязгнул железом и тронулся.

— ... будешь Иисусову молитву читать! Велено будет на Евангелие на престольное задом сесть — сядешь!.. — Майор ткнул озадаченного попа кулаком в пузо. — А может, Бог-то есть, — а?.. — Озадаченный поп, согнувшись, молчал. — Да шучу я! Шучу! — рассмеялся майор, хлопнул по па по плечу и запрыгнул в вагон. — Смотри, чтобы прихожане по сектам не разбрелись!..

— Товарищ майор, ты зайди к моему начальству!.. зайди!.. — Бородатый шагал за поездом. — Зайди!.. — Бежал за поездом. — Зайди!.. зайди, товарищ майор!.. — Но слова бородатого отскакивали от вагона, как колун от промёрзшего пенька.

А меня уже не трясло под платформой. Похоже, я заболел чем-то тридцативосьми — и — семи десятых — градусным... Выключили фонарь, и сквозь щели платформы, в светящем небе, стали видны звёзды. Они молча проповедали всей земле величие Господа. Мне подумалось, что так звездисто, как в эту ночь, в северных землях никогда не было. Боль притупилась...

* * *

Серожа осторожно перенёс меня на телегу... Стонать нельзя — грех!.. А почему грех, не помню... Жар умалял боль в плече. Я хворал чем-то тридцативосьми — и — семи десятых — градусным...

— Помедленнее!.. чтобы не трясло... — настоятельно попросил Серожа возницу. Серожа — человек!.. Всё норовил подоткнуть под меня золотую солому. — Утром на работе говорят, будто пьяный какой-то под платформой валяется... Я сразу подумал: «Это не пьяный!.. это теперь братцу Ване плохо стало... потому он меня и не встретил...» За плечо не беспокойся — сегодня же тебе его вправим!.. будет лучше, чем было... И кто же тебя так?..

— Какая теперь разница?.. — Голос мой был надтреснутым. — Старец Уар учил... это не враг мой, а благодетель!.. Наставляет меня смиренномудрию... Только при этом радоваться ещё надо, а радоваться пока не получается...

— Ну, не всё сразу! — успокаивает Серожа, а в тоне его — большое сомнение: так ли учат смиренномудрию. Серожа имел вид опрятный и ухоженный.

Серожа занёс меня в свой дом и с порога велел супруге разорвать простыню на полосы. Жена неохотно, но согласилась. Рвала молчком. От неё уютно пахло мылом и утюгом. Она была в положении. Серожа осматривал моё плечо и что-то говорил ободрительным тоном. Потом дал мне в зубы скалку.

Серожа вправил мне плечо и перебинтовал.

— До смерти заживёт, — уверенно пообещал он, освобождая скалку из моих зубов.

— Где ты так ловко научился? — спросил я, осматривая своё ладно забинтованное плечо. Боль, казалось, совсем отступила.

— Где?.. — переспросил Серожа. — Меня когда в штрафбат определили, предьяву дали на Сергея Трофимовича, а я — Трифонович!.. А какая разница, кем погибать — Трифоновичем или Трофимовичем?! — рассказывая, Серожа осторожно одевал меня. — И в госпитале после ранения Трофимовичем вылечили... И показуху за Будапешт тоже вручали Трофимовичу, а не Трифоновичу... Тут соколку и рубаху порвать тебе придётся — зашьёшь потом...

Война закончилась, домой еду... тут меня смерш за задницу и взял!.. А в камере с бандеровцами сидел... большая была камера... Пытали их — жуть!.. Их после допросов с вывихами приносили... Вот и научили! — Серожа подоткнул подушку между моей спиной и холодной стеной.

— По-хорошему, тебе в больницу надо...

— Не! — сразу запротестовал я. — Домой!.. Дома отлежусь!..

— Утром от станции полуторка пойдёт в твою сторону, посажу тебя... С Божьей помощью доберёшься до своей кельи... Ты теперь там от старцев эстафету принял... Место святое!.. уединённое!.. Сам Бог велел молиться... Трудно молитвы читать?

— Так, как я молюсь, не трудно. А как Уар молился, я так не могу!.. — Я хотел рассказать Сероже про записи, которые делал старец в послемолитвенном состоянии, про то, что кое-что уже начал понимать в них, хотя Уар пытался записать неизреченное и светозарное, но не рассказал, а сказал: — Он и за царей благочестивых молился: и за византийских, и за русских, и за грузинских... болгарских, румынских, сербских... — всех знал!..

— Я, братец Ваня, пробовал молиться, да что-то не очень идёт... А у тебя, похоже, не так... Кто бы мог подумать!.. — Серожа улыбнулся. — Ты тогда как начал Валторну срамить, я сразу припух и смекнул, что у тебя в душе твоей бедовой молитвенный уголок имеется... Я тебе напишу на бумажке, кого за упокой поминать... родителей моих... кореша моего, воина Василия... под Будапештом его!.. Ну, а за здоровье меня поминай, прищепку мою Марусю... неспрадную...

— А я каждый день прошу, чтобы Валторна меня простила... И побаиваюсь немного!.. Во сне иногда вижу, как она келью мою поджигает...

— Ну, до этого, может, не дойдёт...

— Я и имени-то её не знаю... без имени поминую... Господь весть...

Серожина супруга принесла мне чай. Серожа мягко ощупал взглядом её большой живот.

— Кого ждёте?

— Что за вопрос? — переспросил Серожа под улыбку супруги. — Сына, конечно... Вот Маруся разродится, окрестим...

— Попа найдёшь?

— Найдём!.. До Блиновки доедем ...

Я хотел рассказать про ночной разговор на станционной платформе, но сказал другое:

— Какого священника мы достойны, такого нам Господь и посылает...

— Молись за нас, братец Ваня!.. Маруся тебе пошиборить соберёт что-нибудь... на помин души, так сказать... А ты старайся!.. Видно, тебе от отца по наследству передалось...

— Старец Уар — не отец мне, — сказал я, заранее представляя удивление Серожи.

— Как не?.. — Серожино круглое лицо застыло в детской растерянности.

— Вот так... И Уар некоторое время думал, что я — его сын. Еннафа — матушка его и, стало быть, должна быть моей матерью, но сына она во мне и не признала. Похож, да не тот!.. Меня и крестили... на всякий случай... «... *аще не крещен, во имя Отца... аминь... аще не крещен, и Сына... аминь... аще не крещен, и Святого Духа... аминь...*»

— Надо же!.. А как похож ты на старца Уара, будто...

— Похож, только лицо синее.

Серожа широко улыбнулся и аккуратно приладил двумя ладонями светло-русые волосы.

— Ты в мордогляд-то давно смотрелся?

— Уар зеркал не держал.

Серожа снял со стены слегка замутнённое зеркало и поднёс ко мне.

— Ничего себе — сказал я себе! — удивился я и дотронулся пальцами до своего лица. Оно поросло бородой, поимело морщины, но перестало отдавать синевой. Серожа улыбался вместе со мной.

* * *

Утром Серожа достал из пузатого комодного ящика связку блестящих трофейных карандашей и засунул в карман моего дождевика. Тетради свернул трубочкой и отправил в тот же карман. Тетрадей было до обидного мало.

Серожа проводил меня до станционной площадки, украшенной красными флагами и натянутым между столбами плакатом с надписью: «Сталин — это Ленин сегодня». Кабина полуторки блестела на осеннем солнце по-утреннему вос-

торженно. Серожа усадил меня рядом с водителем. Постамент на площади уже не пустовал. Симбирский помещик Ленин с кепкой в руке уверенно шагал в светлое будущее. По соседству притулился другой постамент, пониже и поуже. На нём — бюст Анны. Её мужской подбородок лежал на обрубленном плече.

— Похожа? — спросил Серожа, кивнув на бюст.

— Я её ни разу не видел... поминаю её... за упокой... — И поёжился от влажной прохлады осеннего утра. Я хворал чем-то тридцативосьми — и — семи десятых — градусным. Неподалёку от машины, в несвежем белом халате поверх пальто, вокруг табуретов прохаживался парикмахер, потирая озябшие руки. Один табурет ожидал клиента, на другом стоял открытый чемодан. Сверкало зеркало, прикреплённое к внутренней стороне крышки. Из чемодана зазывно выглядывали одеколоны с резиновыми грушами и блестящими металлическими секаторами. Жизнь, похоже, налаживалась...

Езда в кабине полуторки была нетряской. Машина неслась по влажной от дождей лесной дороге, бледно-коричневой, местами розовой. Приветливо мелькал по бокам серо-белый березнячок, подёрнутый лёгким туманцем.

— Вот здесь останови... — Машина затормозила. Я осторожно снял своё тело. Спросил для заздравного поминания имя водителя и окунулся в лес. Пошёл знакомыми стёжками, огибая обманчивые болотца, с трудом перешагивая через поваленные деревья. Ели будто подрастали на глазах, становились темнее, но лес веселил солнечными просветами. Мох радовал нездешним бирюзовым цветом. У ручейка с ладошку шириной остановился на передышку... Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешнаго... Ручеёк бежал среди мягких моховых кочек, но в этом месте показывал свой нор. Он пенился и пузырился... А в пустынке ручей звенел!.. Господи Иисусе Христе... И — чудо! На потускневшем мху кочки, среди пожелтевшей осоки, прилепился свежий глянцево-зелёный кустик брусники с бордовой гроздочкой. Она нежно была сорвана и отправлена в рот, и я, полюбившись её вкусом, продолжил свой путь и вскоре вышел к ершовскому кладбищу. Стал слышен шум падающей воды на плотине, воз-

ле которой колхозники восстанавливали мельницу.

У кладбищенской ограды — могила партизанки Анны с красной звездой на памятнике. Про подвиг Анны детям рассказывают в школах. В день смерти героини кладбищенский холм чернеет митингующим народом. Приезжал писатель, ходил по ершовским избам, выспрашивал про подвиг партизанки. Говорят, скоро выпустит книжку... Молитовка моя преткнулась!.. Обышедше обыдоша мя, именем Господним противляхся им...

Постоял на плотине, глядя на ниспадающую, без морщин, воду, почти фиолетовую. На валунах-ледорезах гладь воды разбивалась, и она, точно сердясь, мутнела и пенилась, покрываясь янтарной желтизной. За плотинной озеро превращалось в лесную речку. Я про себя называл её Иорданом. По берегам белели в сиреновой дымке берёзы, а за ними стеной стояли ярко-зелёные высокие ели... От плотины до кельи я обычно читал «Богородицу». Шёл по берегу редким березняком, топкой тропинкой, потом поднялся на косогор. Богородице Дево, радуйся... Келью сторожила высокая ель. Приветливо зашумела, когда я стал спускаться вниз. На крыльце кельи увидел полную женскую фигуру — сердечко ёкнуло... Валторна?.. Но узнал Татьяну, дяди Фёдорову дочь, сестру Григория. За женщину прятался мальчик... Богородице Дево, радуйся... Из Германии Татьяна вернулась с сыном. Ершовские мальчишки дразнили его Немцем. Он был широколиц, как и все в дяди Фёдоровой породе, и лицо усеяно «гречкой».

— Это и есть братец Ваня? — спросил мальчик, выглядывая из-за матери.

Я открыл разбухшую от влаги дверь и впустил гостей в холодную келью. Мальчик осматривал её так, будто искал, где спрятаться. В келье чисто и светло. На приоконном столе, рядом с недописанной иконой — букет осенних трав. Мальчик прилёг на сундук, на сеной матрасец, в уютной полоске мягкого жёлтого света, идущего от окна. Татьяна с узелком в руках неуклюже села на лавку.

— Ты, братец Ваня, всё спрашивал, как Гришу нашего поминать. Я не знала, а теперь знаю!.. — Татьяна с боязнью оглянулась на дверь, и я не-

вольно повторил её движение. — Письмо он прислал и посылку... Стало быть, за здравие!..

— Вот как! И где же он?

— Посылку милиционер не отдал — показал только... посылка из Канады... Велено было бумагу написать, что мы не нуждаемся в подачках предателя. А письмо дал почитать. Оно уже распечатано было. Григорий за немцев до конца войны воевал, а в плен попал к американцам... а потом в Канаду переехал и там женился на хохлушке. И не поверишь, братец Ваня, — как в кино! — мельница у него теперь!..

— Да, как в кино!..

— Может, тебе больно о нём хорошее слышать... я тогда не буду... А нас все дразнят!.. Доводят мальчишку!.. Я уж и на улице его одного не пускаю!.. — Взгляд Татьяны стал страдающим.

— Я и сам не хочу, — сказал мальчик, не отрывая щеки от сенного матрасца.

— Обидно напраслину терпеть? — спросил я. Получилось почти ласково.

— Да... И ещё хочется взять дубинку и треснуть кому-нибудь из них по башке!.. чтобы все мозги вылетели!.. — вяло проговорил мальчик, не отрывая стриженной головы от сенного матрасца.

— Это — злость... ты гони её!.. Гони... злость эту... Она — по твою душу... Я тебе, Федя, помогу немного... Ты его, Татьяна, молитовке научи... — Я достал из-под книг (не то чтобы ухоженных, но не запалённых) кусочек обёрточной бумаги, положил на неё копировку (почти прозрачную) и палочкой с острым концом написал, выговаривая:

— Терплю... ради Господа нашего Иисуса Христа... терплю!.. — И передал бумажку с бледно-фиолетовой надписью Татьяне. Она поблагодарила, поставила на стол узелок и, развязывая его, умоляла меня со всяким усердием:

— Ты помолись, братец Ваня, помолись за умягчение злых сердец... за Федьку моего, чтобы не изводили его...

— Помолюсь, — сулил я, — я не Дух Свят, но помолюсь... а ты сама молись... Молитва матери со дна моря достаёт. Никто так не помолится за своё дитя, как мать!.. Ни поп, ни епископ, ни патриарх... Не ленись только...

Федя осторожно оторвал белесую стриженую голову от матрасца.

— Не даётся мне молитва, братец Ваня... —

Татьяна повернула ко мне заплаканное широкое лицо (точно толстый блин с гречневой кашей). — Раз уж люди к тебе идут, стало быть, у тебя получается! Это не каждому... помолись!.. — Всё её несуразное, грубо сколоченное, жиробокое и коротконогое существо умоляло меня. А я, как всегда в подобных ситуациях, испытывал беспомощное замешательство.

Дитя Татьяны, облокотившись на обкромсанный край стола, сурово разглядывало незаконченную икону. Я ещё хворал чем-то тридцативосьми — и — семи десятых — градусным и немного тяготился своим состоянием.

— Мы с мамкой в Блиновку, в Церкву, ходили, — серьёзно сказал Федя. — Там поп с бородой, и одежда у него красивая, нарядная, а здесь, на иконе, одежды у всех некрасивые. И попы в фуфайках и без бород... в лесу служат, а не в храме! Разве в лесу можно служить? — вопрошал умный Федя.

— Они служат в заключении, — начал объяснять я.

— Попов простили, — вразумлял меня Федя. — Их всех из тюрем выпустили, — да, мам?..

— Простили... — несмело подтвердила Татьяна.

— Простили... да не всех!.. и вряд ли когда простят!.. Так и служат в фуфайках и залатанных портках...

— Так не бывает, — закапризничал Федя.

На иконе я писал Литургию в зимнем северном лесу. Её совершают не поминающие красных иерархов мученики нашей веры, которых так и не выпустили из сталинских застенков. Между холмов, поросших хвойным лесом, обритые и остриженные попы в фуфайках с лагерными номерами служат Литургию в епитрахиях и фелонях из лагерных простыней. Лица передних ещё можно различить. Здесь и схиепископ Уар, и архиепископ, над которым я издевался в лагере, катаясь на старике по бараку, и священник, которому я сломал нос в беспричинной злобе... И схимонахиня Еннафа, и монахиня Фекла. И лица похожи, только не удалось мне передать взгляд с заледенелой слезой. Не получалась!.. Не давалась мне заледеневшая в монашеских глазах слеза!.. А с середины иконы и — вверх: лиц уже не различить — только фуфайки с нимбами...

После ухода гостей я затопил печь. В окно хорошо просматривалась Ершовка. Она отража-

лась в озере. Отражался и храм с успевшим обветшать куполом без креста. После освобождения приходская жизнь в ершовском храме теплилась недолго. Отца Андрея сразу арестовали, и службы в храме не совершались. Ершовского настоятеля судили и приговорили к десяти годам лагерей. Дальнейшая его судьба неизвестна. Рукоположенный по рекомендации отца Андрея священник (тот, что согласился служить за паёк немецкой контрразведки) перешёл в Московскую Патриархию, вероятно, за паёк советских спецслужб. Этого попа куда-то перевели, а в восстановленный отцом Андреем блиновский храм назначили нового священника. По слухам, милиционера. Его за глаза так и называли: Монах В Синих Штанах. А верующие Ершовки созерцали гибель своей духовной обители. Храм превратили в клуб. Там крутили советское и трофейное кино и устраивали танцы для молодёжи.

Я доживал ещё один чистый день. И следующий день обещал быть чистым, потому что с утра, после молитв, Бог даст, я отточу карандаш и в новую тетрадку начну переписывать на чистую свою повесть о старце Уаре, Еннафе и Фекле. Понятно, что ограниченный грубостью образа своих мыслей, я не смог описать утончённое сознание монахов в часы их чистых молитв, не смог описать ни духовного созерцания подвизавшихся, ни тех восхитительных вещей, которые происходили в мироотречниках, когда они молитвенно касались пакибытия. Порой я

встречаю в разуме своём некое прозрение, но всё, что открывается мне, до того неуловимо, что я не успеваю облечь его не только в слова, но и в мысли. Мне хочется походить на Уара, Еннафу и Феклу и стать странником, не выходя из своей кельи, но несвобода от всякой плотской нечистоты удерживает меня от просветления. Мне не хватает опытного наставника, и я часто вспоминаю Уара, Еннафу и Феклу. Иногда я хожу на их могилы в сожжённую пустыньку. Иногда вместе с Надей. Тогда безмолвный лес оглашается пением псалмов и панихидных песнопений. Надя превратилась в красивую девушку. За ней пытается ухаживать наш участковый. Частенько заезжает в Ершовку на трофейной мотоциклетке. Надя говорит ему, что не собирается выходить замуж. Но это вряд ли!.. Участковый Наде нравится, и об этом в Ершовке все знают. И не только в Ершовке. А мне нравится Надина теплота к дорогим мне людям. Надя знает, что я пострижен тайноцерковниками в монахи, хотя я ей об этом ничего не говорил. Правило мне благословили лёгкое, необременительное...

□

Ефим СОРОКИН

родился в 1961 г. в Пензе.

Священник.

За повесть «Марфа» запрещен в служении.

С 2001 г. служит от катакомбного епископа

в деревне Новая Кутля.

Автор книг:

«Енох», «Змеиный поцелуй», «Горемыки миленькие».

Печатал повести и рассказы

в журналах «Сура», «Странник».

Лауреат нескольких литературных премий,

среди которых премии А. Солженицына и М. Лермонтова.

Живет в Пензе.

